

Людмила
Улицкая
Бумажный
театр
НЕПРОЗА I

18+

НОВАЯ КНИГА

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Людмила Евгеньевна Улицкая

Бумажный театр. Непроза

Серия «Улицкая: новые истории»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63094927

Бумажный театр: неprozа:

ISBN 978-5-17-132615-9

Аннотация

Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала весьма провокативно – неprozа. И это отчасти лукавство, потому что и сценарии, и личные дневники, и мемуары, и пьесы читаются как единое повествование, тема которого – жизнь как театр. Бумажный, не отделимый от писательского ремесла.

“Реальность ускользает. Всё острее чувствуется граница, и вдруг мы обнаруживаем, как важны детали личного прошлого, как много было всего дано – и радостей, и страданий, и знания. Великий театр жизни, в котором главное, что остается, – текст. Я занимаюсь текстами. Что из них существенно, а что нет, покажет время”. (Людмила Улицкая)

Содержание

«Из ученичества не выплыву вовек...»	5
Непроза	6
Целительная магия театра	12
Полупродукт – несчастный случай	49
Сестрички Либерти	50
Семья сегодня	135
Юбилей. Дубль два	137
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Людмила

Евгеньевна Улицкая

Бумажный театр: непростая

© Улицкая Л.Е.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

«Из ученичества не выплыву вовек...»

Из ученичества не выплыву вовек,
школяркой, девочкой
стареющей пребуду.
Всё понедельник, чистый лист
и первый снег
надеждами мне полнятся,
покуда
не гаснет свет всеобщей мастерской,
и не кладут крестом на руку руку,
и с губ слетит комочек золотой,
покинув обнищавшую старуху.

1978

Непроза

С тех пор как я научилась писать, я писала. Ужасным, надо сказать, почерком. Точнее, несколькими разными плохими почерками. Что писала? Записочки, письма, детские дневнички. Дневники пишу до сих пор. Целая куча разноформатных книжечек, года с 76-го сохранились почти все. Более ранние развеялись. Когда удастся разобрать – интересно. Я ли писала или другой человек? Ответ на этот вопрос двойственный: да, конечно я, но я стала другим человеком... Что писала в дневниках – не проза. Но проза в них завязывалась. Эта книжка так и будет называться – “НЕПРОЗА”.

Сюда включено много чего неопубликованного: пьесы, сценарии, эссе. И дневниковые записи. Они уж точно непроза.

Нашла недавно запись в дневнике, сделанную больше сорока лет тому назад. Улыбнулась.

18 июля 1978. Ай-Даниль

...Если бы Бог дал сил написать большую книгу – о голоде, о жажде, о “семейных связях”, о близких, о метаморфозах любви, о (бабочка ночная села на палец, когда писала) разных сортах ее, о возрастании, созревании, расширении, преодолении ее, о том, как любовь становится безымянной и безадресной, направленной просто “вовне”, и объект ее –

ближний в пространственном смысле, тот, кто сейчас рядом, кто сегодня в тебе нуждается. Когда стираются грани — и родительская уже не отличается ни от дружеской, ни от свирепой страсти: то есть преобразование любви. И страшно подступиться, так много про это знаю. Слишком. Не могу в уме связать всех нитей... В память Марии Петровны, моей бабушки, у которой как раз этого не получилось. “На половине своей длины коридор выкидывал коленце и тек на криво срезанную кухню, которую Мария Петровна ненавидела...” — и закончить сумочкой под подушкой, в которой морские камешки. Подбирает, крадет сумочку соседка в больнице, уже у мертвой...

Сдам детей в сад и сяду. Уже пора.

Большую книгу я в конце концов написала. И не одну. Но до выхода первой книги, небольшого сборника рассказов “Бедные родственники”, оставалось еще ровнехонько двадцать пять лет... Она вышла совершенно чудесным образом на французском языке в издательстве *Gallimard* в 1993 году. И было мне в тот год пятьдесят...

До выхода сборника я много чего произвела: сценарии для мультфильмов, несколько детских книжек, несколько пьес, из них некоторые даже были поставлены в детских театрах. Но сколько же всего не было никуда представлено, не напечатано, даже никем не прочитано. Это у меня обыкновение и по сей день: поставила точку — и считаю, что дело сдела-

но. Но сделано-то оно на самом деле, когда потрачены время и силы на публикацию. Про пьесы и сценарии и говорить нечего – самая беготня начинается, когда речь заходит о постановке... Вот на это меня не хватало тогда, не хватает и теперь...

Ноябрь 2019

Однажды мне было тридцать пять. В жизни все переменялось... Нет, не так. Однажды мне было тридцать три. В жизни все переменялось. Я смертельно влюбилась в совершенно не подходящего человека. Он был супермен, а я до этого времени вблизи эту брутальную породу живьем не встречала. И уж конечно не догадывалась, что нет на свете ничего глупее, чем быть суперменом. Это решительным образом изменило мою жизнь: я развелась с мужем, преобразовалась в одинокую “разведенку” с двумя малолетними сыновьями, одновременно сообразила, что за годы довольно безрадостного брака потеряла свою замечательную, но слишком быстро убежавшую вперед биологическую профессию. С суперменом, между прочим, тогда же и рассталась. И осталась на руинах. Терять было уже нечего... И почувствовала я себя свободной как никогда в жизни. И новенькой. Кроме двух детей и маленькой разменянной с бывшим мужем “двушки”, ничего не было. Но тут отец подарил мне свою старую машину, “пятерку”, и жизнь моя пошла на новых

скоростях, с нулевой точки.

Нет, вру. Машину отец отдал мне гораздо позже. Просто время тогда летело со страшной скоростью, как в окне поезда мелькали картинки, и все новые, прежде невиданные.

Итак, возникла новая жизнь, и я немного нервничала, много читала и немного писала. Всего разного. Я до сих пор люблю делать то, чего не умею, а уж тогда фронт у меня был очень широкий: ничего не умела и за все бралась. Почти за все...

В тот год, когда мне исполнилось тридцать пять лет, я решила поступить на Высшие сценарные курсы. Туда принимали как раз таких, как я, – с высшим образованием и не старше тридцати пяти. Я подала заявление вместе со свеженписанным сценарием “Чума в городе” Валерию Фриду, прекрасному мастеру, он набирал курс. Он мне позвонил через пару дней и сказал: я вас не возьму. Я расстроилась, но не сильно, потому что не особо и рассчитывала... А Фрид продолжает: нет смысла вам учиться, вы уже всё умеете.

Сценарий этот “Чума в городе” никогда не был поставлен. Я недавно его нашла в шкафу, прочитала и думаю: а Фрид-то был прав, хороший сценарий. А что он меня в учебу не взял, может, большое везение.

С тех пор я и осталась расстригой – бывшим генетиком. Называть себя писателем язык не поворачивался. Да и генетиком невозможно: за те пятьдесят лет, что прошли с окончания биофака, та генетика, которую я изучала, нахо-

дится теперь в школьных учебниках. А та, что сегодня называется генетикой, стала главной наукой человечества и располагается на стыке биологии, физики, химии, математики, информатики...

С того же времени я знаю, как прекрасно быть никем.

Нет, я нисколько не жалею о трудностях жизни. Я просто вспоминаю сегодня, как прекрасна иногда бывает "точка нуля". Дети выросли, нарожали внуков. Я давным-давно замужем за тем самым бывшим суперменом, который прекрасный старик, с самой легкой тенью суперменства, над которым сам и посмеивается. И мне сто лет в обед.

За эти годы я написала много книг. Книги переведены больше чем на сорок языков. Карьера удалась, хотя я об этом и не мечтала. Вообще, многое удалось. Но сегодня я хочу поговорить о том, что не удалось: не напечатано, не поставлено и даже никем не прочитано. И занимаюсь я сейчас почти исключительно стариновской работой – архивом. Очень интересно.

Занимаясь своим архивом, то есть шкафом, в котором сложена вся моя писанина за всю жизнь, я обнаружила, что многое из того, что я производила, напрочь забыла. Перечитала пьесы и сценарии. Кое-что – просто даром переведенная бумага. Кое-что мне нравится и даже, кажется, нисколько не устарело. Как хорошо, что есть бумага. Скоро ее вообще не будет, а техника современная так быстро старе-

ет, что уже невозможно прочитать то, что было написано на наших первых в жизни кассетах, дискетах и флешках. Только археологи смогут. Слава бумаге! Но не о бумаге речь.

“Бумажная архитектура” – раньше так называли архитектурные проекты, которые нарисовать на бумаге можно, а построить нельзя. По разным причинам – техническим, эстетическим или идеологическим.

Я занимаюсь текстами. И живем мы во времена, когда тексты в большой степени остаются “бумажными”. Что из них существенно, а что мусор, показывает только время.

Целительная магия театра

К театру тянет. Бабушка Мария Петровна, неудавшаяся актриса марджановского Московского свободного театра (моя мама на этом месте поджимала губки и говорила: “Погорелого театра!”), существовавшего всего один сезон 1913–1914 года, всю жизнь чувствовала себя “причастной”. И меня вовлекла. МХАТ. Год, наверное, 1948-й. Мне лет пять. “Синяя птица” Метерлинка. Актер Хлеб задирает рубаху и ножом вырезает из своего живота ломоть хлеба бедным деткам... Такого за всю жизнь не забудешь!

Помню, как в 1955 году бабушка привела меня, двенадцатилетнюю, на московские гастроли, где играли “Гамлета” в постановке Питера Брука с Полом Скофилдом в главной роли. Такое случается раз в жизни. Не так уж много людей осталось на свете, кто помнит этот спектакль. А я помню с тех самых пор: *To be, or not to be, that is the question...* А сколько разных “Гамлетов” видит человек за свою жизнь! Второго “Гамлета” я видела в том же театре, который еще назывался театром Революции – он был охлопковский, – несколько лет спустя. Гертруду играла бабушкина то-гдашняя соседка по коммунальной квартире, актриса Вера Гердрих. История была очень интересной: Вера должна была играть Гамлета, репетировала, но в последний момент в роли Гамлета вышел все же Евгений Самойлов – актриса в роли Гамлета была слиш-

ком революционна даже для театра Революции. Слова “гендер” тогда еще не знали. Но, вероятно, бабушка взяла меня на генеральную репетицию, потому что я отчетливо помню рослую женщину с плотными ногами в мужском костюме... Нет, все перепутала, и теперь уже не распутать: и бабушка умерла, и Вера Гердрих. Кажется, именно этот спектакль с Верой Гердрих был мой первый “Гамлет”, а в постановке Питера Брука – уже второй.

* * *

В 1979 году я и сама попала в театр. Работать! На этом месте придется сделать глубокомысленное заявление, что судьба человеческая – большая затейница... Итак, я развелась, детей отправила в детский сад на целую смену и размышляла, куда идти работать: генетика – наука стремительная и за эти годы улетела очень далеко, до нее уже было не достать... И тут в доме моем отключили горячую воду. Неделю я мылась холодной водой, а потом, соскучившись по горячей, поехала к подруге Гале Охримец, у которой к этому времени воду уже включили. Галя – художник, в то время начала работать в новом, недавно образовавшемся Еврейском театре. И тут как раз к ней в дом приехал режиссер. Он тоже был новый, как и театр. Состоялась наша первая встреча.

Теперь об обстоятельствах времени.

Годы были те самые, когда евреи отчаянно боролись за

право репатриации в Израиль, сидели “в отказе”, и власть решила продемонстрировать миру, что с еврейской культурой все в порядке, никто евреев не преследует за их желание “свалить” из страны, и для поддержания этой легенды был создан в Биробиджане этот самый театр. Местом его временной прописки назначена была Москва. В этом был резон: в Еврейской автономной области к тому времени оставалось полтора еврея. Как мне объяснил один из оставшихся в Хабаровске молодых евреев, все евреи уехали на Запад. “Какой Запад?” – удивилась я. “Ну, кто в Новосибирск, а кто и в Москву...” – объяснил он. О другом Западе они и не мечтали.

Вот с режиссером этого самого Еврейского театра, который сразу после организации театра отвалил на разрешенный Запад, то есть в Москву, мы и познакомились. Сидели, пили чай. Разговаривали. Режиссер сообщил, что собирается ставить спектакль о Бар-Кохбе. Был такой еврейский революционер, поднявший восстание против римлян в 137 году нашей эры... Я была осведомлена. Начитанная была девица, к тому же мой тогдашний муж, зная о моем интересе к еврейской истории, подарил к рождению первого сына “Еврейскую энциклопедию” издания Брокгауза и Эфрона. Впервые, вероятно, встретив человека, которому имя Бар-Кохбы было известно, режиссер немедленно предложил мне идти к нему в завлиты. Это было легкомысленное предложение, и я его, после небольших колебаний, легкомысленно приняла.

Это был новый поворот. Я начала театральную жизнь!

Нелишним будет упомянуть, что новый театр собирался играть на почти выветрившемся за время разнообразных гонений XX века языке идиш. Актёров, знающих этот язык, практически не было. Хотя евреи были в достаточном количестве. Режиссер тоже языка не знал. Были наняты два педагога, Александр Гордин и Мария Котлярова; они и преподавали нашим актёрам этот почти вышедший из употребления язык. Они были бывшими актёрами ГОСЕТА, Московского Еврейского театра, разогнанного в 1949 году. Михоэлс, его руководитель, был убит и сброшен под колеса грузовика. Многие актёров тогда посадили. Для актёров ГОСЕТА идиш был родным языком. И это был не усеченный язык местечка, лавочки, домашнего застолья, а язык небольшой локальной культуры.

Я на уроки идиш не ходила. Но выучила второй раз в жизни еврейский алфавит. Первый раз эти древние загадочные буквы показал покойный прадед, но я успела их забыть. В те годы я прилично знала немецкий язык, что было большой подмогой.

С самого начала работы театра стало ясно, что играть драматические произведения на идиш актёры не смогут никогда, а вот песню спеть смогут. Так театр стал камерным и музыкальным. Первым спектаклем, который был уже поставлен, когда я попала на должность заведующего литературной

частью, была опера “Черная уздечка белой кобылицы”. Признаться, либретто было чудовищно плохим. Для того чтобы это понять, совершенно не надо было быть специалистом. Но первое задание, которое я получила как завлит, – выпуск пластинки с этой полуоперой. На пышном конверте к пластинке предполагался текст, для написания которого я должна была взять интервью у художника-постановщика спектакля, у самого Ильи Глазунова! И я притащилась к нему домой, в дом Моссельпрома у метро “Арбатская”, в квартиру, увешанную первоклассными иконами северного письма по одной стене и немецкими барельефчиками техники “бисквит” – по другой. Он их тоже собирал. “Широк русский человек...”, как говорил Достоевский. Насколько широк, Глазунов сообщил мне в нашей беседе. На мой вопрос, почему он решил выступить в роли художника-постановщика в еврейском театре, он ответил: “Я за чистоту искусства! Пусть русское искусство будет русским, а еврейское – еврейским. Я готов помочь становлению еврейского театра, еврейского искусства, но принцип мой в том, чтобы искусство сохраняло свою национальную чистоту”. Подтекст был вполне понятен: лишь бы вы, евреи, в русское искусство не лезли...

Пластинка вышла – обложка на трех языках: русский, английский, идиш.

И больше о Глазунове ни слова: *De mortuis aut bene, aut nihil.*

Второй художник, с которым я познакомилась в еврей-

ском театре, – Сергей Бархин. Он был художником-постановщиком знаменитого американского мюзикла “Скрипач на крыше”, который сильно видоизменился на нашей сцене, начиная от нового названия – “Тевье из Анатовки”... Именно Сергей Бархин и открыл мне восхитительную тайну театра, которая существует только в личной “передаче”, как дар целителя или шамана. Научиться этому ни в каком учебном заведении нельзя. Учитель, Мастер в этой передаче – фигура решающая.

У меня над столом висит большой бархинский эскиз к нашему единственному спектаклю. Это шедевр: рисунок, композиция, остроумие и юмор. В минувшем году была огромная выставка Бархина, и я была поражена не только фантастическим разнообразием его работ, в которых всегда присутствовала твердая рука архитектора и человека наследственной художественной культуры, но и их несметным количеством.

В советские времена Бархин был если не из числа вполне гонимых, то уж точно из числа “нежелательных” в столице театральных художников, и он многие годы мотался по огромной российской провинции и поставил такое количество спектаклей, которое и сам сосчитать не может. Именно с того момента, как мы стали работать вместе, я и поняла, что значит такой великий профессионал в театре. Наш “Тевье” был решен не режиссером, а художником: трижды меняющиеся занавеси, обрамляющие сцену, и финал, когда

с колосников спускается лестница, и все жители Анатовки поднимаются вверх, в небеса, под замечательный зонг композитора Джерри Бока с чудесными восклицаниями: “А скоророду не забыли? А веник? А одеяло? А половичок?”

Тут я должна, вздохнув, совершить признание: я приложила руку к тексту. Его пришлось несколько перелопатить, приблизив к первоисточнику, к Шолом-Алейхему, и привести его к тому общему знаменателю, который требовали условия времени и места. Наивности и тщеславия во мне было так много, что я не постеснялась вынести свое имя на афишу. Это один из двух постыдных поступков в моей жизни. Корыстолюбия во мне не было, да и этот идиотский жест денег не принес нисколько, но чего хотелось, так это профессиональной реализации...

Между “Кобылицей” и “Тевье” выпустили очень обаятельный спектакль “Ломир але инейнем”, в переводе “Давайте все вместе”. В сущности, концертная программа из еврейских народных песен с легкими следами драматургии. Евреи на него валом валили, особенно в провинции. Публика была душераздирающе трогательная – это были “выжившие”, люди пожилого и среднего возраста, многие прошедшие через гетто и концлагеря. Они плакали, слушая песни своего детства на “маме лошн” – родном, материнском языке. А я сопела носом, глядя на них. Почти все эти евреи рвались в Израиль, но их не выпускали...

Я очень плохо понимала стратегию советской жизни тех лет – например, что театр наш представляет собой декорацию для Запада, что никогда не разрешат нам поставить те еврейские пьесы, которыми прославился театр Михоэлса, что библейская тема вообще под запретом, что про Бар-Кохбу можно забыть, а уж тем более про Моисея. Спустя несколько лет я написала киносценарий именно об Исходе из Египта, но в центре его был не Моисей, а его сестра. Ох, я много тогда прорыла! В мире поставлен не один фильм на эту тему, но в Советском Союзе такого фильма быть не могло. Его и не было. Писала я сценарий по заказу одного симпатичного продюсера-армянина. Армяне – двоюродные братья евреев по изгнанию, во многом и по судьбе, по гонениям и геноциду, который до сих пор прогрессивное правительство Турции отказывается признавать...

Очень малая часть того, что я тогда написала для театра и кино, было реализовано. Тем не менее, три года работы в театре были очень интересны для меня во многих отношениях. Да и люди, с которыми я в те годы пересеклась, а с некоторыми и подружилась, были разнообразно яркими.

Возвращаемся к театру. За три года работы в Еврейском театре я научилась всему, что должен уметь зав-лит: писать письма начальству – вести так называемую деловую переписку, – представлять театр в прессе и читать пришедшие в театр самотеком пьесы. Если до той поры я читала пьесы от-

личные и хорошие, мировую классику и советских профессионалов, то теперь я ознакомилась с тем, что такое плохая пьеса. Это тоже было довольно поучительно. В некотором смысле плохие пьесы так же полезны для обучения, как и хорошие...

А потом я ушла из театра. Быть безработной или “фрилансером” в те годы было невозможно, это называлось “тунеядство”. Именно за это самое тунеядство и осудили Иосифа Бродского. И я, уйдя из театра, сразу же поступила в существующую и поныне организацию, которая называется “Профком драматургов”. Принимают не всех, а исключительно тех, кто может заработать литературным трудом “минимум” – по тем временам 80 рублей. Это приблизительно полторы зарплаты уборщицы. Я к этому времени уже могла условно-литературным трудом эти деньги заработать. И меня приняли! Через пару лет я случайно узнала, что моя бабушка Мария Петровна в давние годы тоже была членом этого самого профкома. После серии неудач с театром она стала заниматься журналистикой, писала в журнал “Игрушка” и еще в какие-то травоядно-нейтральные издания. Но на работу не ходила. У нее было много в жизни страхов, но более всего она боялась “переворачивать номерок”, то есть ходить на государственную работу с утра до вечера.

Три года работы в театре тоже были последней моей службой, с тех пор я никогда “номерок не переворачивала”.

Когда в те годы возникали перебои с заработками и али-

ментов не хватало, проходя мимо метро “Аэропорт”, я все поглядывала, висит ли еще объявление “Требуется ночная уборщица”. Оно висело, и это меня успокаивало: эта работа мне подходила – уложу детей спать, побегу на полезную и чистую работу, полы в вестибюле мыть. Но обошлось без швабры. До сих пор, когда вижу объявление “Требуется уборщица”, понимаю, что это спасение не только для таджикских женщин.

На этом можно было бы и закончить рассказ о моей работе завлитом. Осталось сказать только самое важное, что я поняла за десятилетия разнообразной литературной работы. Открытие, может, и незамысловатое, но чрезвычайно важное: когда пишешь прозу, то собственной головой отвечаешь за произведенный “продукт”. Когда пишешь пьесы и сценарии, за конечный “продукт” полностью ответственен режиссер. Я отвечаю за свои слова: одну и ту же написанную мной пьесу видела в двух разных постановках: одна была плохой, другая – великолепной. Текст один и тот же, как вы понимаете. Я очень люблю театр, и мне нравится писать пьесы – заводить некую музыкальную шкатулку и наблюдать, как она почти без твоего участия начинает играть свою мелодию в зависимости от того, как придуманы твои герои, какой ритм и тон ты задал. Но все же предпочитаю прозу. Эта такая степень независимости, которой не дает никакое другое развлечение.

Театральные радости. Их было множество. Но в последние годы стало очевидно, что вместе со всей нашей шатающейся цивилизацией и театр вступил в совершенно новую полосу. Он вышел за те границы, которые ему много лет предписывались, и наблюдать этот процесс безумно интересно. Наблюдать исторические эволюции театра – занятие увлекательное.

Лет двадцать тому назад я чудом попала в самый древний в мире, сохранившийся и поныне театр в Эпидавре. Построен он был в IV веке до нашей эры, а попала я туда двадцать четыре века спустя, в начале девяностых годов XX столетия. Находится город Эпидавр в северо-восточной части Пелопоннеса. Всех археологических артефактов и музея древностей я не видела, сосредоточена была на театре и сильно торопилась.

Мы приехали в Эпидавр из Афин на машине, и этот колоссальный амфитеатр произвел неизгладимое впечатление. Самое смешное, что он казался грандиозной декорацией для съемок голливудского фильма из жизни древних греков. Я пребывала в высоком волнении – еще бы! В этом самом Эпидавре в IV веке до нашей эры играли этот самый спектакль, и Софокл был еще жив или недавно помер...

Я уселась в каменном амфитеатре. На этих камнях сиде-

ли зрители за два тысячелетия до меня. И тут как раз, при свете дня, как и полагалось у древних греков, и начали спектакль. Труппа из Сицилии играла “Царя Эдипа” на итальянском языке.

Такого жалкого спектакля свет не видывал. Сицилианская труппа недотягивала даже до уровня школьной самодеятельности: бродили по большой сцене актеры на котурнах, время от времени их теряя, орали слова. Хор подвывал, я страдала. Постановка была неописуемо плохая. В конце спектакля на сцену вышел царь Эдип с красной марлечкой на глазах, изображавшей жестокое ослепление... Самое сильное впечатление от спектакля получила моя задница, сидящая на древних каменных сиденьях, когда-то согретых покойными древними греками.

Позади сцены стояло очень большое старое дерево, которого и в помине не было, когда до Рождества Христова последний раз играли здесь “Царя Эдипа”. Не так уж много в мире пьес, которые не сходят со сцены два с лишним тысячелетия...

А спустя лет двадцать пять я смотрела “Царя Эдипа” в Москве, в театре Вахтангова, в постановке Римаса Туминаса, одного из лучших современных режиссеров. Это почти не умещалось в сознании: история все та же, и она не перестает волновать нас спустя две с половиной тысячи лет.

Это была выдающаяся постановка. На сцене, почти во всю ее длину, лежала огромного диаметра темная труба с ма-

ленькими прорезями для актерских ступней. Поначалу она скромно лежала, а когда начинала двигаться, то становилось понятно, что это сам рок. Труба выкатывалась на авансцену в ответственных местах, сминая людей с их страданиями, и катила прямо на зрителей.

Вообще, всё на высочайшем уровне: сценография, труба эта самая, костюмы, музыка. Древнегреческий хор в котелках и в черных костюмах был подозрительно похож на евреев. Пели они на древнегреческом, и, как выяснилось, это был хор Афинского национального театра. Премьера этого спектакля была годом раньше как раз в Эпидавре.

Начало прекрасное: две девочки, дочки Эдипа и Иокасты, играют в жмурки. Это и есть главный знак судьбы – она со всеми играет в жмурки. В городе мор, тьма и бедствие. Музыка работает; появляется Креонт с фибровым чемоданчиком. По теперешним понятиям – не то гей, не то трансвестит... Поиск убийцы Лая – для культурной публики никакого детектива нет, за тысячи лет этот миф, кажется, впитался в культурное подсознание. Фрейд всем объяснил про эдипов комплекс. Заранее ясно, что убийца – Эдип. Однако миф хоть и впитался, но не совсем – от зала впечатление такое, что люди смотрят детектив, разгадывая загадку: кто же убийца? И Людмила Максакова – влюбленная жена, у нее куча детей, а Эдип все еще нежно гладит ее по животу. Сыграна любящая пара. И Добронравов-Эдип – прекрасный актер, к тому же и акробат, его акробатический проход велико-

лепен, полон смысла: в этом ум древнего грека, он в нерасторжимой связи интеллекта с телесностью, и это вовсе не загогулина роли. Это уже Римаса прочтение. И саксофонная партия Эдипа несколько не лишняя – это грек, для которого и высшее образование, и воспитание дает один гимнасий с тремя предметами: грамматика, гимнастика и музыка.

Это все Римасовы размышления – и фигура женская с огромными крыльями, то белыми, то черными. Мне кажется, что здесь какое-то вторичное попадание: греки не знали такого театра, он был у них другой, без сценографии совсем, да и музыка а капелла, и мы даже не знаем, пел ли хор или произносил речитативы. Режиссерских записей не сохранилось...

Финал. Все наматывается на темную трубу рока. Первым – царь Эдип. И, что самое для меня интересное, главные события финала – самоубийство Иокасты и ослепление Эдипа, и они проговариваются, а не отыгрываются. Мне понятно почему – очень трудно это показать. А то получится красная марлечка на глазах. То есть уступка и красивый обход сложной задачи. Хотя и Софокл в пьесе о совершившихся несчастьях тоже только рассказывает... Мне показался несколько невнятным уход Эдипа. Но сцена двух пастухов, последнее доказательство убийства Лая Эдипом, хороша.

Это глупое бурчание мое, возможно, от большого моего расстояния от театра. Я ведь, в сущности, человек из “публики”, а не из “закулисья”. Благодаря этому могу плакать.

Хочу плакать. Мне искусство более всего для того и нужно.

Впрочем, высокие античные страсти обмелели, отыгрались. А Максакова, наверное, так хорошо играла роль Иокасты, потому что наблюдает эту почти античную драму в своей жизни...

* * *

Писать о театре в России, не упомянув имени Чехова, невозможно. А судьба всех театралов – смотреть десятками “Трех сестер” и сравнивать всех Маш, Ольг и Ирин... Сколько их разных! Дешевка и убожество, мастерство и новаторство. Собственно, с Чеховым всегда так: попробуй сделать, чтобы публика не дремала!

С Чеховым-драматургом у меня никакого романа не получилось. Но рассталась я с ним самым театральным образом – написала пьесу “Русское варенье”, в которой соединила “Вишневый сад” с “Тремя сестрами” и перенесла эту историю в 2004 год. Теперь уже продают не имение с садом, а дачный участок, один из тех, на которые когда-то разбил Лопахин дворянскую усадьбу Раневской. Сюжет – тот же самый, с поправкой на время. То есть собственности поменьше, а люди всё те же и мечтания всё те же... Довольно смешно. Очень хорошо поставил эту пьесу Анджей Бубень в Питере несколько лет тому назад.

Вот так работа драматурга отличается от работы прозаи-

ка: текст пьесы один и тот же, а получаются совершенно разные истории, в зависимости от дарования режиссера и прочих обстоятельств. Драматург делает полуфабрикат, а окончательный продукт – режиссер.

Я много посмотрела чеховских пьес, перечитывала их бесчисленное количество раз и с Антоном Павловичем прочно рассталась. Всем трем сестрам я предпочитаю “Кармен”. Заявление это делаю в здравом уме и твердой памяти. И вообще, я обнаружила, что драма современной жизни – будь то Чехов, Островский или даже Толстой – меня занимает гораздо меньше, чем театр-мистерия, театр-буффонада, театр кукольный и даже театр теней. Оторванный от повседневности. А если уж драма, то пусть будут “Гамлет”, “Король Лир”. В крайнем случае “Кармен”. К ним я с детства привыкла.

* * *

Последнюю “Кармен” я видела в театре Карло Феличе в Генуе в 2017 году, в постановке режиссера Амедео Амодио. Пошли мы с моей подругой Таней Гориной и внучками – моей Марьяшей и ее Анной. И я весь спектакль подробно записала, возможно, для Вовочки Радунского, который в это время конструировал сценографию и костюмы для балета Минкуса “Дон Кихот” в Риме...

Наши девочки прильнули к оркестровой яме, откуда как раз и вырывались сильные нестройные звуки, всхлипы скри-

пок, взревы труб и плач флейт. Я испытала этот восторг предвкушения – через этот музыкальный шум. Вот сейчас музыканты заиграют, и я узнаю, “где сидит фазан”...

Это одно из моих первых ярких музыкальных впечатлений – проход с бабушкой по коридору музыкальной школы на площади Пушкина, где теперь стоит здание “Известий”. Мне шесть лет. Музыкальный хаос – праздничный, случайный, складывающийся из музыкальных реплик, которые рвутся из каждого класса. Нет ничего знакомого в этих звуках – это космос. Ошеломляющий.

С тех пор я испытываю этот минутный восторг, когда слышу, как музыканты перед концертом настраивают инструменты. Да все равно, с какой точки начинать это исследование. Пусть “Кармен”.

Вот музыка Бизе, не первоначальная, а сильно переработанная, другая, выстроенная теперешними музыкантами по другим законам. И отлично выстроенная, начиная с увертюры. Темы известные, затертые до уничтожения: “...Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей”. Вдох-выдох. Не может это работать. Все умерли давно. Однако...

Первая партия – дуэт Кармен и Хосе на увертюре. Хосе довольно табуреточный, подставка. Танцуют двое, а на белой стене – три тени. Какая-то лишняя фигура крутится в виде бестелесной тени. Фиктивная тень – намек на будущие большие возможности. Они не были использованы, надо сказать... Я люблю театр теней. В каком-то смысле это идеаль-

ный театр. Метафора театра...

Вместо канонической первой сцены у табачной фабрики – закулисье. Актрисы переодеваются, провозят штанкеты с костюмами, труппа разминается. Спешит девица со скрипичным футляром, налетает на прохожего. Это Кармен и Хосе. Играет Кармен балерина из Генуи, последние 12 лет солистка Венской оперы *Alice Firenzo*, Хосе – кубинец *Amilcar Moret*, мулат, ему бы Отелло играть безо всякого грима. Хосе извиняется, но футляр почему-то уносит. Кармен заканчивает партию на полу – очень причесанный брейк-данс.

Прелестная сцена в казарме: солдатики спят, просыпаются, умываются, отряхивают уши, делают зарядку. Руководит некто в фуражке. Не помню имени этого персонажа из Мери-ме, но он там имеет место, начальник Хосе. Дуэт Хосе с Фурагой – с отсылкой к Дягилеву, к Стравинскому.

Смена темы – Матильда, невеста Хосе в окружении солдат, несколько шаловливо. Массовка, о которой Марьяша спрашивает у меня: фламенко?

Я в восторге! Чуткая девочка.

Очень трогают ребрышки и ключицы балетных. Не только сейчас – всегда. Наверное, упитанные люди не могут быть такими душевно тонкими, как это требуется для смертоубийственной любви?

Тема Кармен – “У любви как у пташки крылья”... Рисунок сцены: шлюха на работе, Хосе с невестой милуются на окраине сцены, все солдатики в ногах Кармен, она их слегка

топчет, потом Кармен подходит с сигаретой (привет сигарной фабрике!), просит закурить и кидает красный цветок.

Дуэт Матильды и Кармен, и тут видно, что Матильда ее переигрывает: и общего места в ней меньше, и лицом слегка на Плисецкую походит. Словом, она хороша настолько, что Кармен надо сильно поработать, чтобы отбить мулата.

Далее мало мотивированная ссора – балет все-таки, с мотивацией трудно; Хосе должен вести Кармен в участок. Он связывает ей своим красным галстуком руки, и здесь все сделано исключительно точно: цветок, галстук, наручники из галстука, и уже непонятно, кто кого и куда ведет. Хосе – в красных узах. В конце первого акта нам танцуют сексуальный акт, технично и неэротично...

Во втором акте декорация минималистичная и вполне удачная: два подвижных блока, внешняя сторона которых – белая стена, а внутренняя – металлические, удобные для всяких трансформаций прутья.

Массовка. Кармен флиртует с Фурагой. Появляется Тореадор в белой жилетке на голом теле с педерастическими оттенками пластики. Не могу сказать, режиссерская ли это идея или не поддающаяся дрессуре природная склонность. Да и не важно! Тем временем Хосе убивает Фурагу, и следующая сцена – прекрасная и смешная – в логовище контрабандистов. Они в блекло-малиновых лапсердаках и с рук на руки передают приблизительно фибровый интригующий чемоданчик с драгоценностями – нам их демонстрируют Хосе

и Кармен. В контрабандистах есть что-то неуловимо еврейское, и все время ожидаешь мелодии “Семь сорок”. Но нет. Все по Бизе. Умора!

Кроме прочего, мелькают и часы на цепочке! И это уже Мериме – тот, кто писал либретку, произведение Мериме читал внимательно... И снова “Тореадор, смелее в бой!” – в белой жилетке, вихляя задом.

Кое-как, медлительно, не без мучительства, развивается сюжет. Появляется Матильда, но ей уже не светит.

И тут выезжает большое кривое и мутное зеркало, чтобы Тореадор мог раскрыть свою ничтожную породу. Здорово, вот тут здорово. Запахло Гойей. И одновременно “ананасами в шампанском”! Очаровательно-старомодно! Привлекательно-старомодно! Нарочито? Или так получилось? Это останется для меня загадкой.

И вот перед кривым зеркалом на Кармен натягивают белое условно-подвенечное платье, лицо покрывают белой прозрачной тканью – фата-саван, и она мирно ложится на пол, потому что Хосе как-то тихонько и совершенно незаметно ее прирезает. Зал рукоплещет, мы с девочками тоже. Кричат “брави!”.

Возникает смутная догадка: культурное пространство, в котором мы постепенно оказались, тотально и окончательно цитатно. Сегодня мастерство режиссера, писателя, художника связано почти исключительно с умением манипулировать цитатами. Но цитаты, будучи блоками, клише, кирпичами,

обладают своей собственной жизнью. Когда-то это были великие открытия, прорывы: Гете, Вольтер, Платон, Ницше – всем известные кирпичики, – а потом оказалось, что их можно перезаряжать, с ними можно и поиграть.

“Если бы треугольники создали себе бога, он был бы с тремя сторонами”, – сказал Вольтер, и поначалу это было откровение для интеллектуалов, потом это высказывание стало задачкой для теологов, которые увязывали это высказывание с идеей Троичности, а пару лет тому назад мой внук спросил у меня: а у треугольников бог треугольник? Просто Вольтер, а не ребенок! Так свежепридуманная три столетия тому назад гениальная мысль постепенно овладевает человечеством, спускаясь “в массы”. И теорию относительности теперь проходят в школе...

Вот об этом мне бы и хотелось подумать. Хотя вряд ли я смогу надумать что-нибудь умное. Конец истории, кажется, отменили, а вот про конец искусства еще никто не объявлял...

А под конец я вспомнила, что и сама написала больше тридцати лет тому назад пьесу “Кармен, Хосе и Смерть”, по просьбе Жени Гимельфарба, – для студенческого спектакля, который должны были играть в куклах, на столе, но в конце концов его поставил Виктюк с Апексимовой в главной роли. Стихотворный текст я написала вполне ничтожный, но придумано было не очень плохо: Хосе был представлен двумя экземплярами – Солдатом и Любовником, и один из них был

черный актер из труппы Виктюка, а Смерть была одновременно и Карменситой. Когда она (Смерть) приходит в сцене казни к Хосе, то оказывается, что она и есть Кармен. Это ближе к Мериме, и его “Кармен” я очень люблю, особенно загадочную главку об истории цыган, которая ну совершенно не пришей кобыле хвост!

* * *

Одна из последних больших театральных радостей, года три тому назад, – постановка Сокурова спектакля “*Go, go, go*” по мотивам пьесы Бродского “Мрамор”.

Происходило это в городе Виченце, городе Палладия. Я никогда высоко не ставила его как мастера. Но тут поняла: это совершенно особый облик города – переход от готики к классицизму, минуя барокко и рококо. И все вычислено до копейки, вся гармония проверена строжайшей алгеброй, а через некоторую сухоту проступают очертания прекрасные, античные. Они потом выродились в муссолиниевскую и сталинскую архитектуру. Причем в этой сухости и даже твердолобости дремлет крупная мысль. Ну, про шкатулку базилики Палладия и говорить нечего – чудо со всеми ее метрами, которые укрывают находящиеся внутри произвольные колонны, двери и проемы... Вообще же это тот случай нарушения эволюции, которые я так люблю и всегда отмечаю: в искусстве, как и в биологии, случаются такие забеги вперед,

которые отрабатываются лишь позже, — в искусстве речь идет о столетиях, в редких случаях о тысячелетии; в эволюции такие биологические казусы наблюдаются в другом масштабе — в миллионах лет. Появились млекопитающие очень рано, но прошли миллионы лет, прежде чем природа опомнилась и обратила внимание на их огромные преимущества...

В спектакле “*Go, go, go*” следов Бродского я не уловила, но Бродский наряду с Феллини был главным героем пьесы. Пьесу от начала до конца придумал сам режиссер. Ни в каком другом театре мира эта пьеса не прозвучала бы так, как она прозвучала в этом палладиевском театре “Олимпико”. Он с 1547 (или около того) года здесь стоит...

“Мрамор” я перечитала перед отъездом и ужаснулась: как можно будет это высидеть, да еще и на итальянском... Даже подумала — прозорливо! — что, может, и лучше, что на итальянском...

Дух захватило при входе в партер: спектакль как будто еще не начался, но на очень глубокой сцене происходил уличный эпизод с гимнастами, зеваками, сидящими за столиками кафе посетителями, среди которых мелькали, постепенно занимая все более внимания, двое бродяг в замечательных масках Янусов: два лица — одно обычное и на обычном месте, второе на макушке. Постепенно понимаешь, что лицо на макушке воспроизводит живое лицо партнера. Сама сцена поражает не только своей шириной, но и необыкновенной глубиной: как будто на авансцену втекают три ули-

цы, центральная и боковые, а между ними – дома в палладианском стиле. Перспектива – не фальшак, а действительно невероятная для сцены глубина. Второй взгляд – от сцены на собственно театр – и снова дух захватывает! Это амфитеатр, украшенный мраморными скульптурами, многоярусный, не очень большой, сплошь деревянный и очень высоко поднимающийся к балконам. Думаю, что пятьсот лет тому назад, когда глаз человеческий не был избалован высотками, зрелище это было еще более ошарашивающим.

Пока мы вертели головенками и хлопали глазами, как-то постепенно начался спектакль. О чем было объявлено на латыни... Главная улица сцены заполнилась зрителями, сидящими спиной к залу. При дальнейшем рассмотрении именно эти зрители оказались каким-то световым фокусом, проекцией, которая развеялась к концу представления.

Вообще, этот спектакль совершенно правильно называть представлением: с самого начала на сцене – та самая улица, которая существует снаружи в итальянском городе, а точнее, как потом начинаешь понимать, – в Риме. Это очень тонко построенное переливание театра в жизнь и жизни в театр. И спроецированные во всю высоту сцены цветущие глицинии, и дуновение ветра от слабого до сильного, и падающие листья именно связывают внутренность театра с внешним миром.

Бродяги просят подаяния, просят поесть. Слово “манжаре”, одно из немногих мне знакомых, звучит все навязчивей.

Справа на сцене стоит нечто вроде мышеловки, в которой огромный кусок сыра. Нищие, которые называют друг друга “крысами”, пытаются стащить сыр, но они заранее знают, что это мышеловка... На этом много всякой игры, понятной лишь частично и благодаря переводам подруги на ушко...

Площадь живет своей жизнью: здесь распорядитель, полицейский, женщины и мужчины. Гимнасты постепенно перестают ходить на руках и растворяются в толпе. Все ожидают Маэстро, и Маэстро появляется. Это Феллини – облик, красный шарф, журналисты и поклонники. Все они рассаживаются спиной к залу, и начинается просмотр. Экран располагается в конце центральной улицы, образуя торец, наверху, но изображение отражается также в луже воды, которая на авансцене. Бродяг не пускают к публике – и они смотрят обрывки фильмов в луже... Зрителю театра видны и экран, и лужа (дополнительный экран на авансцене).

Показывают отрывки из феллиниевских фильмов: “Рим”, “Сладкая жизнь”, “Амаркорд” и – что особенно драматургически важно – тот эпизод, который посвящен строительству в Риме метро, где видно, как открывают древние фрески и они исчезают перед глазами строителей от соприкосновения с воздухом.

...Анна Маньяни прощается около двери с Федерико Феллини...

Уму непостижимо, как Сокуров смог создать такую ткань, насквозь пронизанную культурными ассоциациями, намека-

ми, перекличками, как смог он, человек русский, с сильным советским импринтингом, со сложными и несколько путаны-ми идеями, иногда поражающий странными и наивными высказываниями, работать на таком высочайшем культурном уровне. Гений, и это все объясняет. Ну, я не говорю о том, что я не поняла, не расшифровала значительной части этой криптограммы, но и то, что я поняла, свидетельствует о гениальной работе.

Фильм на сцене заканчивается, Феллини в своем красном шарфе, окруженный поклонниками, беседуя с Анной Маньяни, двигается к выходу. Бродяги все время присутствуют, барахтаясь около мышеловки с сыром. Анна Маньяни даже вытаскивает оттуда по кусочку сыра, угощает их... Их все гонят, но актриса общается с ними естественно, как равная с равными. Вот тут-то я и заметила появившегося на сцене Бродского...

Надо сказать, что всё это зрелище носит тотальный характер, действие происходит одновременно в разных местах сценической площадки, иногда кое-что я упускала из-за медлительности реакций. Поэтому сама встреча Феллини и Бродского как-то не зафиксировалась. Словом, Бродский читает стихи Бродского на итальянском. Это узнаваемая без всякого перевода “Римская элегия”. Гениальность перевода в том, что по-итальянски стихи Бродского звучат как стихи античные, как Гораций или Катулл. Каким образом переводчик этого достигает?

Сцена пустеет; теперь отыгрывается большой фрагмент разговора Бродского с бродягами – и снова эта интонация равного разговора. Бродяги, Туллий и Публий – что и есть единственная связка, как мне показалось, с первоисточником, – надо сказать, замечательные актеры. Но у Сокурова все замечательно играют, даже часть волонтеров, которых он набрал просто на улицах Виченце. В спектакле задействовано, кроме труппы, еще десятка два людей. На сцене до семидесяти человек.

К финалу Туллий и Публий влезают в мышеловку, она захлопывается – механический звук. Подбегают полицейские и вытаскивают из мышеловки два мешка, в которых – останки размолотых бродяг.

Бродский еще читает стихи. Потом в луже возникает отражение фотографии его и Марии Соццани – он к ней обращается (вот эта сцена вызывает некоторое сомнение – единственная, пожалуй!) со словами незначительными, типа, вот мы и увиделись...

Финал. Бродский подходит к сидящему на корточках у стены мальчику – он встает, и это его встреча с самим собой молодым; такой же сюжет мелькает и у Феллини.

Собственно, это и есть конец спектакля. Потрясение совершенное. Детали этой работы неописуемо неуловимы, хотя свет, декорации, движение, музыку будут изучать в художественных академиях.

После оваций вышел Сокуров и объявил, что он благода-

рен театру, который дал возможность и т. д. и это был последний спектакль, который больше никогда играть не будут.

Потом мы пошли ужинать в какой-то ресторанчик неподалеку... Было долгое сидение и очень интересные разговоры. Но это уже другой сюжет, внетеатральный...

* * *

С Кириллом Серебренниковым меня познакомила подруга Катя Гордеева, которая в школьные годы жила с ним в одном дворе в Ростове-на-Дону, и даже родители их дружили. Довольно много спектаклей “Гоголь-центра” я видела. Не могу сказать, что мне всё у них нравится. Несколько первоклассных, некоторые восторга не вызвали. Но талант несомненный. Вся эта скандальная история вокруг него, затеянная мстительными недоумками, в конце концов – и уже! – послужит его мировой славе.

Так случилось, что мы общались с Кириллом в Питере накануне ареста. Нашла дневниковую запись от 22 августа 2017 года. Как хорошо, что не полагаюсь на свою память, записываю...

22 августа 2017

Только что появилось сообщение о “задержании” – это скромное слово обозначает арест – Кирилла Серебреннико-

ва. 19 и 20 августа я провела в тесном общении с Кириллом. Пожалуй, самом тесном за последние годы. Это была компания моих молодых друзей, и разговоры шли почти исключительно об искусстве, и более всего о кино. Мне было безумно интересно: эти люди по возрасту мне годятся в дети, и я радовалась и восхищалась зрелостью их суждений, их прекрасным образованием и, что самое существенное, я видела в них людей, переживших тот цивилизационный шов, который так трудно мне дается. Вот они, люди будущего, говорила я себе, они нас умнее, они нас талантливее, и какое это счастье. Проблема “отцов и детей” вошла в новую фазу: отцы учатся у детей...

Все это происходило в Петербурге, где Кирилл снимал фильм о Викторе Цое. В день отъезда я пошла на съемки, что было вовсе не запланировано. Просидела там пару часов и еще раз порадовалась: за Цоя, за Кирилла, за себя... Излишне говорить, что я наблюдала работу мастера, видела, как он ведет тему “маргинального” искусства, превратившегося на наших глазах в “мейнстрим”...

Прощание наше, собственно, произошло накануне вечером. Шел дикий ливень, уже подъехало такси, и, перед тем как вынырнуть на дождь, мы поцеловались. Он стоял по одну сторону ворот, в проходе во двор, я – по другую. Нас разделяли кованые чугунные ворота, и через эту чугунную решетку мы и поцеловались.

Вообще-то такое может присниться во сне – такая ме-

тафора, от которой дух захватывает. И эта картинка меня не оставляет. Вот он, “твоих оград узор чугунный...”

Спустя три с половиной месяца не где-нибудь, а в Большом театре был поставлен спектакль “Нуреев”. Режиссер Кирилл Серебренников сидел под домашним арестом, и последние репетиции шли уже без него. Судебный процесс против него только разгорался. И в голову никому не могло прийти, что больше двух лет он будет находиться взаперти.

На прогон “Нуреева” я попала благодаря Бертману, художественному руководителю “Геликон-оперы”, который через пресс-секретаря Большого добыл мне приглашение. В том году пошла у него в театре опера “Доктор Гааз”, либретто к которой я и написала. На следующий день, чудом, попала я еще и на премьерный показ. Два раза посмотреть такой спектакль на самом деле мало – он очень сложно устроен, с первого раза невозможно уловить огромной сложности и богатства работы всей этой замечательной команды. Спектакль этот – одно из самых сильных впечатлений последнего времени. Он, конечно, балет, но формально. Потому что содержательно выходит далеко за рамки того, что мы привыкли называть балетом, в том числе и того, в котором прославился сам Нуреев. Это тот самый театр, который выходит за пределы самого себя. По крайней мере, того, что в прошлом веке называлось театром.

Кирилл Серебренников придумал этот спектакль от на-

чала до конца – придумал его тексты, создал драматургию, которая вся построена на тончайшем монтаже. То, что это Большой театр с его потрясающей труппой, и выучкой, и традицией, само собой разумеется, большая удача. Но и материал, предоставленный театру, уникальный. Сценографию и костюмы тоже делал Кирилл. Это суперпродукт. Очень многое от меня ускользнуло – не хватило театральной культуры. Ощущение раздвинувшегося пространства, которое происходит от соприкосновения с большим талантом. Впервые в жизни я поняла это в юности, когда прочитала “Дар” Набокова, – я увидела, как на моих глазах целая область, прежде не имевшая словесного воплощения, его обрела, а то, что прежде оставалось в области ощущений, эмоциональных догадок, оказалось выражено точными словами и таким образом расширилось. Это подвиг искусства, это его смысл и назначение. Кирилл это сделал. Прекрасная, точная музыка Демуцкого, который оказался вполне молодым человеком. И тоже не случайность: этот спектакль – дело рук молодых. Хореография Юрия Посохова – тончайшая, он как будто никуда не уходит от классического балета, я даже не увидела в нем никакого особенного модерна, движения в сторону современного танца, и непонятно, за счет чего получается такое насыщенное гротеском, остротой и новизной зрелище.

Через весь спектакль идет аукцион – распродажа изысканных, роскошных вещей покойного Нуреева, от его дирижерской палочки до последнего из его многочисленных до-

мов на каком-то острове. В последнем эпизоде, смерти Нуреева, этот дом возникает в виде огромной металлической конструкции, на которой происходит действие. Дамы и господа в аукционном зале раскупают лоты, текст звучит по-английски, бежит строкой. Иногда текст по-русски – строка английская. Я не все успеваю прочитать, но это и не так важно. Первый эпизод аукциона заканчивается появлением уборщицы и распорядителя, который меняет портрет Николая Второго на портрет Ленина. А справа женский портрет, я не узнала чей. Какой-то великой балерины, кажется. Он остается на протяжении всего действия. Портреты вождей постепенно меняются: Ленин – Сталин – Хрущев – молодой Брежнев.

Балетный класс. Снова лоты. Нуреев в белом, в окружении балерин; соло Нуреева. Программки, кстати, у меня не было, имен солистов так и не узнала. Там, вообще-то, три состава, но в этот вечер танцевали Светлана Захарова и их лучший солист, фамилию забыла, конечно... И вот уже хор поет советские песни. Танцевальный номер, слегка отдающий знакомой самодеятельностью; красные сарафаны. Огорожено металлическими решетками. Это не пародия, а какой-то пересказ эпохи, с полным вниманием, точностью и улыбкой к прошлому, какое может быть, когда прошлое так давно прошло и перестает ранить.

Побег Нуреева, соло. Какая-то большой точности диагональная композиция. Партсобрание. Подлинные тексты!

Стенограммы! Портфели. Чиновники. (В зале, между прочим, сидит министр культуры Мединский, что придает дополнительный шарм истории!) Сочетание подлинных текстов времени с классическим балетом – гротеск и сарказм.

Нуреев в Булонском лесу, в окружении проституток всех возможных и невозможных полов. Роскошная сцена. И сразу же – письмо к Нурееву от партнера-любовника. Текст. Вообще, писем несколько по ходу спектакля; кажется, некоторые подлинные... Нуреев позирует. Раздевается. Обнажается, впрочем, довольно целомудренно. Он нарцисс, наслаждающийся собой, своим телом, жестом. Толпа папарацци. Надевает черный бархатный халат. Вазы, цветы, фотографии. Танцует на столе. Он в славе, в упоении от самого себя. Дуэт с партнером – фантастический.

Появляется пожилая дама с цветами, садится на стуле. Это мать героя. Она появляется несколько раз – садится с цветами на венский стул и наблюдает...

Дуэт с балериной. Весь классический балет как будто только для того и создан, чтобы наконец могло проговариваться внесловесное сложное содержание. Это непередаваемо и исключительно содержательно. А ведь казалось, условная форма на это не способна. Прочерчивается линия теснейшей дружбы Нуреева с балериной Макаровой, как и он, сбежавшей из России.

Сцена с кушеткой. Балерины в черном – фрагмент из “Лебединого озера”. Такое “Лебединое” тоже вообразить невоз-

можно. Как это балетные критики пишут об этой материи, когда она так далека от словесного описания? Это Нуреев ставит балет как режиссер-постановщик – груб и силен: ругает балетных. Он в славе, жестокий психопат и гений. “Что вы показываете свои толстые жопы, смотрите на меня!” – кричит он в бешенстве на актеров.

Сцена с Аллой Осипенко: слава богу, что мы остались русскими. Нежная и любовная сцена. Фрагмент Демона.

Аукцион продолжается. Справа дымятся какие-то тени. Из этого мутного пространства вырастает карнавал. Опера в балете – Король-Солнце. На стене расплывчатые и фокусирующиеся граффити – невероятно, и это тоже Кирилл?

Мощный финал – железные конструкции, ремонт очередной, последней его виллы на острове. Нуреев умирает.

Звучит колыбельная песня на татарском языке. На сцене опять мать с цветами. Нуреева переодевают в черный фрак и какую-то странную белую чалму. Живой он или мертвый? Он спускается со сцены к оркестру с дирижерской палочкой. Это финал. Описание совершенно невозможно – хотелось бы взглянуть на сценарий Кирилла. А может, вообще ничего описать невозможно? Живем в неопишемом мире. Этот роскошный, клубящийся пластическими и самыми отвлеченными образами, острыми воспоминаниями, мыслями, пригодными для завтрашнего дня, спектакль сделал Кирилл Серебренников, который все еще сидел под домашним арестом.

Как же я люблю театр! Какой в России последние годы интересный театр! Мне кажется, что ничего сравнимого по качеству нет сегодня ни в литературе, ни в изобразительном искусстве. Объяснения этому у меня нет.

Точнее, есть одно, но я на нем не настаиваю: театр – самое религиозное из всех искусств. Лучший из театров тот, где происходит строительство мира, и тогда Режиссер становится Господом Богом, актеры – апостолами, зрители – паствой. Одновременно искусство театра и самое антирелигиозное. Театр предлагает разные модели устройства мира, конкурирует с официальной религией, всегда предлагающей единственно верное решение... Театр разоблачителен, насмешлив, саркастичен, иногда убийственен. И бесстрашен. Порой он освобождает зрителей от предрассудков, предвзятости, узости зрения, расширяет пространство, включает эмоциональную сферу, которая у современного человека оказалась сильно подавленной.

Не зря средневековая церковь относилась к театру с такой неприязнью, даже запрещала актеров хоронить на кладбищах – только за оградой. Театр раскрепощал человека, побуждал к самостоятельной мысли. Тему карнавала и смеховой культуры в театре, которая лежит тут же рядышком, не рассматриваю. Это лучше всех сделала моя дорогая подруга

Ирина Уварова.¹

Древние греки этого конфликта между культурой и религией не знали. Напротив, город Эпидавр славился не только огромным театром на 14 тысяч мест. Здесь жил и создал школу один из древнейших врачей, Асклепий, вокруг имени которого сложился религиозный культ.

В город Эпидавр стремились не только любители театра, но и толпы паломников, жаждущих исцеления от болезней у знаменитого врача. После смерти Асклепия на месте его служения возник храм, куда стекались молящиеся о выздоровлении. Да и не только храм, а, говоря современным языком, медицинский центр имени Асклепия, потому что там жили его сыновья и последователи. Врачи. К тому же древние греки считали – и современные психологи могут с ними согласиться, – что лечить больных могут не только порошки и травы, но и театральные представления, которые дают зрителям чувства восторга, благоговения, страха... Театр участвовал в религиозном обряде исцеления. Эти два проекта – медицинский с храмовым служением и театральный – работали в ту пору совместно. Древние греки считали, что лечебный эффект театрального действия происходит благодаря катарсису, который испытывает зритель.

Мне кажется, что древние греки были правы. Театр не

¹ Ирина Павловна Уварова (род. 1932) – уникальный человек, филолог и искусствовед, автор нескольких книг, в том числе – об искусстве керамики и о культуре (театр, литература, живопись) Серебряного века. Редактор, театральный художник, постановщик спектаклей. Вдова Юлия Марковича Даниэля.

только дает нам наслаждение. Хороший театр обладает мощным целительным действием. Попробуйте взглянуть на театр с этой точки зрения. Того стоит.

Полупродукт – несчастный случай

Когда я с грустью говорю, что работа драматурга – производить полупродукт, у меня есть для этого основания. Большие тридцати лет тому назад я написала киносценарий “Сестрички Либерти”, по которому был снят фильм. С первого же кадра снятого фильма я поняла, что это вообще не моя история. Речь даже не о том, хорош или плох был тот фильм. К первоисточнику он имел весьма отдаленное отношение. Чтобы реабилитировать сценарий, привожу его в первоначальном виде.

Сестрички Либерти

Сценарий

Позднее зимнее утро высвечивает огромное трехстворчатое окно. Прихотливо вырезанное окно стиля модерн. Высокие потолки, остатки лепнины и панелей. Обои, кое-где свисающие и вздутые пузырями. Бедность и отсутствие воображения. Раскрытая кабинетная машинка фирмы “Зингер”. Засыпанный лоскутами пол.

Над столом склонились две очень молоденькие светловолосые девушки, совершенно одинаковые сестры-близнецы, Люба и Вера. Играют в карты. У одной в руках две карты, у второй – длинный веер карт, чуть не в полколоды.

– Ну, вмасти, вмасти! – поддразнивает Люба.

– Красненькие у тебя, – задумчиво говорит Вера. Замирает и начинает грызть ноготь большого пальца.

– Ну, давай, чего думать-то... Да уж ты его совсем отгрызла, – с насмешкой, впрочем, вполне добродушной, говорит Люба.

Вера бросает две карты – бубновую и червовую.

Люба кроет старшей, смеется:

– Нематёха...

– Больно ты везучая, – обижается Вера.

В дверь стучат, всовывается соседка.

– Вы когда уборку будете делать? О! С утра в карты рас-

селись... Имейте в виду: в воскресенье я дежурство принимать не буду! Сегодня не уберете – еще неделя будет ваша...

– Мы сейчас, тетя Лид, – отвечает Вера.

Соседка ушла. Вера потянулась.

– А чего тебе вчера Генка всё говорил?

– Ой, дурак такой! Говорит, ты меня ждать будешь, когда я в армию пойду... Больно нужен, – вскинула бровки Люба.

– А он вообще-то ничего, – слабо возразила Вера.

– Тёка сита, – усмехнулась Люба – у сестер был свой язык.

– Пошли коридор мыть, – предложила Вера.

...Посередине коридора стоит таз. С двух сторон, спиной друг к другу, девочки, с тряпками в руках, приближаются к тазу. Моют умело, по-славянски, на чуть согнутых ногах. Сблизились. Одновременно склонились над тазом, окунули тряпки, отжали их точным движением, одна с правой руки, вторая – с левой. Поправили челки предплечьем и разошлись от таза в разные стороны. Тетя Лида высунулась в коридор, осмотрела инспектирующим взглядом.

– А вечером на Пушкин пойдём? – спросила Вера сестру.

– Ты что, Вер, завтра за куртками придут, – напомнила Люба сестре.

– Забыла я... это нам до ночи сидеть... – вздохнула Вера.

...Сидят, работают. Одна строчит, вторая гладит.

– В девятой группе и в восьмой, там мастера все же... А

у нас сучка старая... Может, на тот год перейдем? – предложила Вера, поднимая утюг левой рукой. Она левша.

Люба покачала плечами.

– Да хер с ней. Чего она может нам... Ведь не выгонят же...

Люба встряхивает работу, закрепляет нитки.

– Все. Эту закончила. Дай лейбл.

Вера протягивает из коробочки маленький фирменный знак. Подделка... Сидят рядом. Шьют. Одна левой, другая правой...

За окном свистят, Вера подходит к окну.

– Генка...

– Ну и пусть, – пожимает плечами Люба.

– Тебя зовет, – поясняет Вера.

– Да ну его. Не пойду, – отказывается Люба.

– Почему? – удивляется Вера.

– Да неохота, – отвечает Люба.

– А я б пошла, – отзывается Вера.

– Хочешь, так и сходи. Заместо меня, – предлагает Люба равнодушно.

– Может, правда... – неуверенно говорит Вера.

– Да сходи, если хочешь... Он на день рождения звал. К Куцему... Он и не заметит, – советует Люба.

...Лохматый парень с мордой дурацкой, но не злой, зажимает Веру между двумя дверьми парадного.

– Пошли, Люб, там компания... Пошли, – просит он. – Серега музыку приволокёт... – Расстегивает на Вере пальто, влезает под кофточку... Вера мелко хихикает.

– Пусти, чёрт, щекотно...

– Тебе же нравилось, ну... – идет в атаку Генка. – Пошли, что ли... – Потянул ее за руку, вывел из парадного. Темная, почти ночная улица.

...На двуспальной кровати с гнутым изголовьем спит Люба. Вольготно разлеглась посреди кровати между двух подушек.

В дверь стучат. Встрепенулась, выскочила из-под одеяла. Она в толстых штанах до колен, в коротенькой рубашке и кофточке поверх.

– Сейчас! – натягивает байковый халат. В голове надо лбом бигуди. – Подождите!

Открывает дверь. И обмирает. За дверью – высоченный человек с прекрасно-восточным лицом, длинными волосами, собранными в хвост, бородатый, вальяжный.

– Доброе утро! Вы Вера? – спрашивает приветливо; голос богатый, бархатный.

– Ну Вера, – поджимает губы девочка, словно заранее ожидая чего-то неприятного для себя в столь раннем посетителе.

– Мне Тамара Васильевна дала ваш адрес. Сказала, что вы можете сшить рубашку.

– Ну можем, – уже не напряженно, повеселее отвечает она.

А посетитель тем временем вынимает из забавной кожаной сумки, похожей на патронташ, сверток ткани и расправляет его на столе. Отодвинув грязные чашки, он кладет на стол старенькую рубашку-образчик.

– Вот видите, любимая рубашка была. Старая американка. Батничек. Пуговицы на воротнике...

Он прост и обаятелен, но глаз – зоркий, охотничий.

– Точно такую, один в один, и швы, и расстояние между пуговицами, можете? – со вниманием спросил он.

Девчонка кивнула.

– Славная, славная у вас кроватка. – Остановился глазами на гнутой спинке. – Тоннет, отличный мастер.

– Старье, – презрительно говорит девочка, – от соседки досталась.

Посетитель ласково гладит большими породистыми пальцами изголовье кровати. И тут открылась дверь и вошла Вера в коротком пальтишке, с батоном в сетке. Вошла, удивленно остановилась у двери.

– Вер, от Тамары Васильевны заказ, – объяснила Люба.

Посетитель засмеялся:

– Два экземпляра?.. Кто же из вас Вера?

– Вообще-то Вера я, да нас все путают, так что не важно, – сказала вошедшая.

Посетитель сел на стул, сплел свои пальцы, выставив вперед большой мрачный перстень, закусил слегка ус, помолчал, пристально и тяжело разглядывая девочек, и спросил:

– Вы учитесь, работаете?

– В ПТУ, швея-мотористка специальность, – ответила Вера.

– Знаете, девочки, когда сошьете рубашку, приходите ко мне в мастерскую. В любой день, до девяти вечера. Я думаю, что я вам сделаю одно интересное предложение, – сказал он и положил на стол визитную карточку. Потом встал, кивнул приветливо и ушел.

– Ну ты даешь... – с раздражением обращается Люба к сестре. – И ночевать не пришла. Я без тебя знаешь как замерзла...

Вера хихикает:

– Люб, а этот твой, он ничего... Очень даже ничего...

– Не догадался? – поинтересовалась Люба.

– Не-а, – покачала головой Вера. Взяла со стола визитную карточку, рассматривает.

– Ну и бери его совсем, – засмеялась Люба.

– Серде... Серже... не по-русски, не по-английски... по-французски, наверно, – замечает Вера.

– Если по-французски, то Серж. Овца ты, Вера, – поправляет сестру Люба. Переворачивает карточку: – Вот, по-русски написано: Сергей Оганов, фотоживопись, фотографика, дизайн.

– А дизайн – это что? – спрашивает Вера.

– А кто его знает, – пожимает плечами Люба.

– Да, дядечка. Пень с горы... с кольцом, – неодобрительно

оценивает его Вера.

– А мне понравился, не старый еще, – отозвалась Люба.

– Шикарный. Интересно, что предложит?

– Что, что? Полы помыть или портки починить. Разбежалась! Любовь крутить... – довольно зло сказала Вера.

– Да ну тебя, Вер. Чайник лучше поставь, – советует Люба, отламывая от батона большой кусок и засовывая его в рот.

Вера берет чайник и выходит.

...Сестрички стоят у двери небольшого дома старой постройки в не вполне еще разрушенном московском переулке. Парадное выходит на улицу. Входная дверь заперта. Звонок выведен на улицу.

– Чудно как-то, – говорит одна.

– Номер вроде правильный, – отвечает вторая.

За их спинами раздается крик:

– Женя! Женя! Выходи!

Оборачиваются.

Стоит паренек приличного вида, с овчаркой.

– Женя! – кричит он, задрав голову. На последнем этаже дома напротив открывается окно, высовывается мальчишеская голова.

– Сейчас! Подожди!

Дом высокий, не теперешней постройки. Над окном мальчишка, чуть наискосок, полубашня с чердачным окном.

Люба решительно нажимает на звонок. Открывает Серж.

– А, сестрички пришли. Проходите, пожалуйста, – гостеприимно приглашает он.

...Две маленькие взъерошенные птички, в кудельках, бедно и плохо одетые, растерянные сестрички сидят в высоких креслах с прямыми спинками. Разглядывают диковинную обстановку: мебель, светильники, развешанные по стенам костюмы и старинные ткани. На асимметричной этажерке – золоченые корешки старинных книг. В мастерской царит стиль модерн. Вдоль стены – большие щиты с подкрашенными фотографиями. Модель – юноша на тонком переходе, когда фигура уже имеет мужские очертания, но тело еще не огрубело плотными мышцами. Лицо безволосое, девичье. Фавнёнок. Стоит на коленях, держит на уровне бедер медный кувшин.

Серж мелет на ручной мельнице кофе и не торопясь рассказывает:

– Говорят, кофе по-турецки! Да кофе по-турецки готовят двадцатью разными способами – в Александрии, в Стамбуле и в Афинах совершенно по-разному. Я сварю так, как варил мой дед.

Он высыпал кофе из нижней части медного цилиндра, снял с полки три джезвы и вышел со словами:

– Сейчас, несколько минут. Вот, посмотрите пока альбом. Девочки раскрыли альбом, но смотрели не в альбом, а друг на друга.

– Тёка сита́. Акéна, – говорит Вера непонятные слова на их детском, никому на свете не понятном языке.

– Наматёка, – укоризненно отвечает Люба.

– Люб, давай убежим? – предлагает Вера.

– Ты что? Того? – удивилась Люба.

– Акéна очень, – призналась Вера.

– Бутенькая ты, сита́. Интересно же. Как ты думаешь, кто он? – задала вопрос Люба.

– Написано же, фото... это... дизайн, – отвечает Вера.

– Нет, Вер, я думаю, он князь... или писатель.

– Скажешь тоже, Люб, писатель! Разве писатели такие бывают? Помнишь, в школе еще учились, в восьмом классе, писатель приходил. Фамилию забыла... Разве сравнить? Тот замухрышка, от земли не видать... простой такой, – с осуждением сказала Вера, – а этот, может, правда, князь. Но уж точно не писатель.

– Ты посмотри, ткани-то какие... ручные, наверное...

– Откуда ручные?

– А какие же? Не помнишь, что ли, по материаловедению проходили.

– Богатство как в музее... откуда деньги берут?

Входит Серж с подносом. На подносе крохотные фарфоровые чашечки в медной оправе, расписные бокалы, прихотливая вазочка с печеньем.

– Так вот, девочки, что я хотел вам сказать... Я много лет занимаюсь стилем модерн. Было такое направление в искус-

стве на рубеже XIX–XX веков. Его по-разному называют: ар-нуво, ар-деко, либерти... не важно. Посмотрели альбом? В нем архитектура стиля модерн. В Москве осталось довольно много зданий этого времени. Дом, в котором вы живете, тоже модерн. Русский модерн. Модерн – изумительная линия, изгиб, плавные повороты, прихотливость.

Девочки переглянулись. Это было очень интересно, но непонятно: к чему он клонит? А Серж продолжал:

– Линии и формы модерна пронизывали всю жизнь начала века: мебель, посуда, одежда существовали в этих формах. В литературу, в театр, в музыку – всюду проникал модерн. И сложился определенный женский тип, определенный стиль, тонкий, изысканный. Вот, посмотрите. – Он перебил себя, положив перед ними несколько журналов и толстых книг.

Девочки склонились над иллюстрациями.

– Вы мне интересны как модели. Я хочу сделать серию, то есть ряд фотографий в стиле модерн. Я хочу вам предложить попробовать сняться в качестве моделей.

Девочки опять переглянулись.

– Голяком? – жестко спросила догадливая Люба.

Серж зевнул нарочито, потом отодвинул журналы и резко, совсем другим голосом сказал:

– Слушайте меня внимательно. На сегодняшний день вы шавки, полное говно. И жизнь ваша – полное говно. И говном будет всегда. Я даю вам шанс. Я готов для вас кое-что сделать. Кое-что в вас вложить. Лично меня не интересуют

ваши сиськи-пиписьки, но если я скажу, что надо раздеться, значит, надо раздеться.

Вера тронула верхнюю пуговицу кофты.

– Не надо, – остановил её Серж. – Пойдите в ванную и намочите волосы, но не сильно. По коридору направо.

И вот они, с мокрыми, прилипшими к маленьким головкам волосами, голые, вышли из ванной.

– О господи! – засмеялся Серж. – Я же сказал: только волосы намочите!

Достал два халата, накинул на них.

И вот они сидят перед Сержем на табуретках, и он скручивает из бедных жидких волос маленькие пучочки на макушке, остригает ножницами пряди и накладывает завитки на щеке. А потом кладет пальцы на лоб Любе, на то место, где начинают расти волосы, и с нежностью говорит:

– В середине века женщины подбрасывали себе лбы в поисках этой линии. А вам природа подарила... Ну, и отчасти последствия рахита.

...На столе – газета, на газете – металлическая подставка, на подставке – сковородка с жареной картошкой. Над сковородой – сестрички. Одна с вилкой, вторая с ложкой. Едят. Разговаривают:

– А если обманет?

– Да как обманет-то? За рубашку заплатил.

– Нет, вообще!

– А чего он нам должен-то? Подумаешь, посидели, кофе попили, щелкнул три раза...

– Ой, а кофе-то этот, едрит его, меня чуть не сорвало...

– А мне понравилось. И вообще, живут же люди... красота...

– Чудно всё же.

– Ой, сита́, бося́ва... Мне чудится, влипнем мы, – пророческим тоном говорит Вера.

– А ты не босявай! Не хочешь, не ходи. А я пойду. Мне понравилось. Интересно ж!

Зазвенел звонок. Три раза. Девочки встрепенулись.

– Генка, небось, с Куцым, – предположила Люба.

– Ой, на что они нужны... Открой поди, а то Лидия заругается.

Вера идет открывать, Люба лениво доедает картошку.

Входит Генка с Верой.

– Привет.

В комнату заглядывает соседка, без стука, уверенно.

– Имейте в виду: если после одиннадцати хоть что – сразу и отцу, и в милицию.

– Когда же это мы после одиннадцати? – вздрючилась Люба.

– Мы тихо, тетя Лид, – смягчила Вера.

– Знаю я вас, из молодых да ранних! – фыркнула соседка. – Имейте в виду: чуть что – я к отцу!

– Что – к отцу? К отцу? Мы совершеннолетние! – вдогон-

ку уходящей соседке сказала Люба.

– Дался ей отец! – хмуро сказала Вера.

Пришедший вытаскивает две бутылки портвейна.

– Стаканы дай, Люб! Вер!

– Еще чего? Забирай! Здесь не распивочная, – отрезала Люба.

– Да брось, Люб, Вер, чё? – бубнит Генка.

– Да пусть его, – примиряюще говорит Вера, – пусть! – И ставит на стол стакан.

– Разляжется потом, не вытолкаешь, – буркнула Люба.

– Да я на полу, хошь, на коврике, Вер, ляжь со мной на коврике, а? – полушутил он.

– А чего Куцый не пришел? – поинтересовалась Люба.

– А чё тебе Куцый? Я не хуже, всё при мне! – ёрничает Генка.

– Эт ты такой храбрый, пока Куцего нет, – поджимает губки Люба.

– Да что ж он, с двумя зараз? – изумляется Генка.

– А хоть бы и так, не твое дело, – неожиданно сердится Вера.

Но стаканов на столе уже три. Генка заглатывает как удав. Девочки тянут лениво, потихоньку.

– И как вас мать различает? – спросил Генка. – Похожи вы, аж жуть.

– Умерла мать. Она различала. А отец путает, – отвечает Вера.

- Бантики разные вязали, – дополнила Люба.
- А куда? – шутит Генка.
- А туда! – довольно гнусно кривляясь, смеется Люба.

...А, пришли, – встречает сестричек Серж, – раздевайтесь, прошу вас!

Он как-то преувеличенно любезно снимает с них жалкие пальтишки.

– Прошу вас! – распахивает дверь в большую комнату, как и в прошлый раз заставленную по одной стене щитами. Щит с юношей отъехал в сторону, в центре – их крупные портреты. Они не сразу это поняли. Остановились, остолбенело уставившись.

– Мы? – спросила хрипло одна.

– Мы? – повторила другая.

Слезы хлынули у Любы из глаз. Она забилась в угол, за-тряслась в плаче.

– Мадемуазель, что с вами? – растерянno спросил Серж.

– Нет, нет! – всхлипывала Люба.

Вера стояла возле фотографий и грызла ноготь большого пальца. Фотографии были прекрасны. Одна анфас, вторая в профиль, немного совмещенные лица. Тонкие шеи, маленький рот приоткрыт, и блестят атласно два детских зуба. А на другой – почти всё вытравлено, только графическая линия, абрис удивительного лица. И ещё... И ещё...

Серж казался страшно довольным. Он гордился своей ра-

ботой, эффект – и слезы, и столбняк – был ему чрезвычайно приятен.

– Вот такие пробы! – улынулся он. – Ну что, будете работать? Я буду вас звать Любочки, чтоб не путаться! Ну как, Любочки? Вот так, девочки, вот так, мои мышки! Ну, работаем? Почему мы молчим?

– А мы правда такие? – спросила Люба.

– Вы можете стать такими. Женщинами от кутюр, и даже больше того. Но! – Он поднял свой длинный палец. – Если будете работать как африканские рабы! Бросайте к черту ваше ПТУ. Если вам надо будет работать, я сам вас устрою в пошивку, в театр. Поняла, Любочка? – обратился он к Вере.

– Я Вера, – поправила она.

– Я сказал, вы Любочки. Любочки, и всё. Поняла?

Вера кивнула.

– У вас природные данные, а все остальное в стиле строится извне, с поверхности, вот так возникает подлинная линия: давление изнутри, давление извне и выстраивается... – Он говорит это не им, а обращаясь к юноше на щите, к портретам сестричек, ведя пальцем вдоль щеки фотоизображения. А потом перевел взгляд на девочек и стал сухим, деловым.

– Как я понял, вы живете одни? Вам никто мешать не будет? – спросил он.

– Матери нет, отец – он у жены живет, у него семья другая, – получил ответ.

– Прекрасно, прекрасно. – Он слегка задумался. – Пока

мы вот что сделаем. Будете ходить в студию к Олегу, моему приятелю. Он даст вам движение. Предупреждаю: поломает. Но в Союзе лучше специалиста по движению нет. Научит ходить по земле как по небу. Даст форму. Да, брови сбрить, – словно вспомнил важное.

– Как сбрить? – удивилась Вера.

– Взять бритву и сбрить, – объяснил он. – Начисто. Брови надо поискать.

Они испуганно смотрели на него, растерянно – друг на друга. Он улыбнулся неожиданной улыбкой, и лицо его стало еще более привлекательным.

– Понимаете, Любочки, брови – самый сильный акцент лица. Они во многом определяют характер. Я буду рисовать вам разные брови, пока не найду правильные. А потом, когда брови станут отрастать, вы будете пинцетом их подправлять, чтобы правильно росли. Поняли?

Они молча кивнули.

– Волосы надо отпустить подлиннее, мне нужен маленький пучок. Руки, ноги, ногти – это мы потом поговорим. Пока работаете так: у меня студия, рисованию учу ребят, вы будете позировать, по очереди или одна из вас, мне все равно, два раза в неделю, понедельник, четверг, с шести часов до девяти вечера. За это и буду платить.

Они переглянулись, кивнули одновременно. Он встал, вытащил из крохотного, в цветных стеклышках, шкафчика затейливый графин, маленькие металлические рюмки, налил

и сказал торжественно:

– Я хочу выпить за моих новых учениц, за ваш успех! – И, вложив каждой в руку по рюмке, поднял свою, и опять улыбнулся победоносно: – За новую жизнь! Ну, вита нова!

Выпили. И вдруг Серж добавил строго:

– И рекомендация: друзья, подружки – всех-всех гнать. Будут мешать.

...Сестрички принимают гостей; сидят за столом рядышком, в одинаковых блузках, в кудельках, возбужденные.

– Ну что, пора? – спрашивает одна у другой.

– Нет еще!

А гости – дворовые ребяташки, пэтэушники и подружки по швейному делу. Неблагополучные... Здесь Генка и длинная Людка. Гомон, Куций с гитарой. Поет:

Мне говорят, она же грязная,

И глаз косой, и ноги разные.

Мне говорят, она наводчица,

А мне плевать, мне очень хочется...

Генка пытается рассказать анекдот, но его плохо слушают.

– Эт-та... двое поспорили. Он говорит: можешь в три глотка плевательницу выпить, – а тот говорит: могу. Ну, говорит, давай! Этот – раз! – и выхлебал. А тот ему говорит: ты проиграл, мы договаривались в три глотка, а ты разом! Ну и что, этот говорит, такая сопля попалась, перекусить не

мог! – и заржал, сам собой довольный.

– Ой, чего смешного-то? Ничего смешного! – пожалала плечами подружка.

– Соплю перекусить не мог! – смеется Генка.

Сестрички переглядываются.

– Пора?

– Сейчас, погоди немного, – шепчет Люба сестре.

– А мне плевать, мне очень хочется! – надывается опять Генка.

– Да хватит тебе, надоело! – Подружка пихает музыканта в плечо. Не рассчитала. Он грифом задевает за что-то, пихает ее, та отлетает.

– Ты что, оборзел?

Генка встал, опрокинул бутылку с пивом. Лужа на столе. Газеты, пустые бутылки... рюмка падает со звоном.

– Одиннадцать, – говорит Вера. – Пора.

– Давай! – кивает Люба и поднимается над столом. – Эй, вы! Попили? Поели? А теперь давайте отсюда!

Застолье замирает. Длинная подружка подхватывает:

– Давайте, давайте отсюда!

Вера ее окорачивает:

– А ты-то кто? И ты уваливай! Ну, всё! Давайте отсюда!

– Да вы что, обалдели? – возмущается Куцый.

– Уходите и дорогу забудьте, поняли? Прощальный бал вам был! Всё!

Люба вскочила на стул и стала сгребать всё со стола.

– Убирайтесь! Убирайтесь!

Оторопевшие гости попятились к двери. Людка разъярилась:

– Ах, так? Пожалеете ещё! Ой, пожалеете!

– Проваливайте! Все проваливайте! До свиданьица! Приветик!

Гости ушли, а хозяйки не могут успокоиться; прогнав гостей, они изгоняют теперь и самый дух своей прежней жизни.

– Скатертью дорога! – кричит Люба зло и весело. Никому кричит.

– Катитесь колбаской! – подхватывает Вера.

– К чёрту! К чёрту всё! – Люба сгребает со стола стаканы, пустые бутылки, обрывки газет, остатки еды. Куча растёт. В нее летят картинки со стен, старые тетради, фарфоровые статуэтки собаки и петуха. Даже фотография матери, висевшая в рамке на стене, летит в кучу.

– И занавески! – кричит Люба. – Занавески эти дурацкие!

Рванула занавески с окон. Они не поддались сразу, отлетели вместе с карнизом.

– И обои! – подхватила Вера и схватила за слегка отошедшую от стены полосу. Полоса съехала вниз.

И всё, что оказалось под силу, было сброшено, сдернуто, сломано, опрокинуто.

– Бритва! – закричала Вера. – Где бритва?

И бросилась на поиски.

Через мгновение она принесла откуда-то помазок, бритву, стакан с водой и сбрила брови. Тоненькая кровавая полоска пролегла через бровь.

– И я! И я! – визжала Люба от нетерпения.

Сбрила. Зализала Вере кровь на порезанной брови.

И запрыгали на кучехлама, как два бесенка, крича:

– К черту! К черту! Новая жизнь!

Хрустят черепки битых чашек и рюмок.

...Девочки – перед Сержем. Их разделяет небольшой столик. На столике коробка грима, круглое зеркальце на подставке. Бровей у девочек нет, краски тоже. Несколько листов бумаги, на которых тушью нарисованы женские лица. Серж ищет грим.

– Ну хорошо, – произносит Серж, – рисуем брови.

Он хмыкает, напевает, кладет тени, перекрывает. Когда доходит до губ, говорит:

– Посмотри-ка у Бёрдслея. Я уверен, что это его открытие – более темная верхняя губа и опущенный вниз уголок рта, впечатление надменности и очень холодной чувственности...

Люба заглядывает в зеркало – на неё смотрит странное лицо. Грим лежит только на одной его половине. То же и у Веры.

– Это надо зафиксировать, – говорит Серж и устанавливает свет. Он доволен и разговорчив. – У вас очень хорошие

веки, без единой складочки, плотно прилегают к главному яблоку, а само глазное яблоко очень выпуклое. Чтобы это подчеркнуть, вы кладете тень на веко довольно высоко, а потом проводите темно-серым или даже черным резкую границу, а выше кроете белым. То есть не чисто белым, светлым. Это очень грубый театральный грим, я закажу; мне привезут хороший. А сейчас это будет наша маленькая игра.

Он что-то подправил в лицах и, достав камеру, сделал несколько снимков.

– Ну хорошо, – говорит Серж, – на сегодня мы с этим закончим. А вам дам вот такую работу. Надо чулан разобрать, я туда лет пять не заглядывал. Возьмите стремянку в коридоре и всё оттуда вытащите, потом меня позовете. Когда пол там вымоете, назад всё складывать вместе будем. Чтоб я знал, где что стоит. Понятно?

– Понятно, – кивнули девочки.

– Вы голодные? В холодильнике сыр, колбаса, масло...

Зашумела вода, хлопнула дверца холодильника, Вера вошла в комнату с бутербродами. Целую кучу кривых толстых бутербродов настрогала. Серж смотрит из глубины комнаты насмешливо.

– Детка, забери свои бутерброды, я сам сделаю...

И вот они уже сидят за столом. Девочки скованны. Серж разглагольствует:

– Вы можете натрескаться на кухне капустой с кашей, это никого не волнует, но за столом женщины вашего типа во-

обще не едят. У них, понимаете, аппетита нет... Ну, ломтик сыра, глоток вина... кусочек пирожного... да, глоточек, щепотка, чуть-чуть... Но только самого лучшего... Сами посудите, ну? Могут ли такие изысканные женщины набивать рот селедкой с луком? Они созданы для любви... нет, для обожания! Вот так, Любочка, ты делаешь мне одолжение. Исключительно чтобы доставить мне удовольствие, ты съешь этот крохотный бутерброд. Лениво и без всякого удовольствия. И всё – только самое лучшее.

Он посмотрел на часы.

– До шести еще много времени, так что занимайтесь чуланом. О'кей?

...Как обезьянки лазают по стеллажам и антресолям чулана, спускают вниз старые лампы, связки книг, поломанную мебель. Пыль столбом. Они чихают, кашляют, восхищаются, немного играют...

– Смотри, Люб, коробочка какая! Чего в ней?

– Открой да посмотри!

– Шляпа! Умереть можно! – Вынимает из футляра цилиндр.

– Цилиндр это! – догадывается Люба, надевает его.

Входит Серж.

– Ну, кто сегодня работает? Класс собрался! – И ушел.

– Вер, попозируй ты, а? – просит Люба.

– Твоя же очередь! – удивляется Вера.

– Ну прошу тебя!

– Ладно, – соглашается она.

...Сидит одна из сестричек на подиуме, с прямой спинкой, опершись рукой. Человек восемь учеников. Серж ходит между ними, склоняется над очкастой девушкой.

– Ксения, что ты делаешь? Ну что ты штрихуешь? Остановись, подумай немного, что ты хочешь сделать?

– Без рук! Вперед! – приказывает черно-густоволосый человек; из глубины маленького зала на него идут десятка полтора учеников. Присев на корточки, разведя колени и ступни, нелепым и странным ходом. Дверь открывается, появляются Вера и Люба в купальниках. Черноволосый резко оборачивается.

– В чем дело?

– Нас Серж прислал! – робко говорят сестры.

– Почему опоздали? – строго спрашивает он.

– Искали долго. Номеров-то нет, – оправдывается Люба.

– В задний ряд, быстро. Босиком, босиком! – уже не глядя в их сторону, говорит он. Девочки снимают носки и тапочки, ставят в угол. – Ничего сейчас не объясняю. Потом. Делайте как все, – бросает руководитель.

Девочки становятся в последний ряд и пытаются подключиться к этому странному занятию.

– С руками! – командует руководитель. Ученики добавляют к своему странному ходу не менее странные движения

руками.

У девочек ничего не получается, все слишком сложно.

– Коврик, – командует руководитель; все расстилают коврики и ложатся. – Кленовый листок!

Девочки жмутся к стенке, ковриков у них нет. А ученики, подняв ноги, описывают ступнями немислимые зигзаги... И всё это в темпе сильном, быстро меняющемся.

Руководитель меняет кассету и снова... и снова... Все в мыле. Он сам вытирает пот со лба.

– Маша, Гуля, Витя, Саша, – командует он, – номер седьмой!

Все мгновенно разбегаются к стенам, четверо остаются в центре. Пластическая композиция большой сложности, непривычная глазу.

– Закончили, – прерывает руководитель. – Новенькие, на середину! Друг к другу спиной! – приказывает девочкам. – Сейчас вы услышите музыку, минуту слушаете, потом по моему сигналу включаетесь. Сами будете делать то, что в музыке услышите. – Поднял палец, улыбнулся. – Чувствуйте себя свободно, здесь все свои. Просто подвигайтесь! Друг к другу спиной!

Грохнула музыка. Девочки стоят, прислонившись друг к другу спиной. Руководитель махнул рукой:

– Пошли!

Сначала робко, потом смелей, начали они танцевать. Стояли они спинами, друг друга не видели, но движения их бы-

ли синхронны.

– Дают! – сказал кто-то из учеников. Руководитель махнул рукой. Все замолчали. Когда музыка кончилась, он поднял большой палец.

...Девочки лежат в своей постели, разговаривают:

– Ни рукой, ни ногой... я не могу. Люб, мы с девяти до девяти, хуже, чем на заводе.

– Ну хорошо. Что ты предлагаешь? Что?

– Ну, можем сказать, что мы так не можем. Не согласны.

– Вер, но мы-то не больше его работаем. Ты посмотри, он сам-то с утра до ночи, с утра до ночи, и ночью работает. И когда спит?

– Это его дело. Он на себя работает. Как думаешь, сколько он получает?

– Не знаю. Наверное, много. Рублей тысячу или пятьсот.

– А сколько ему лет, как думаешь?

– Не совсем еще старый, лет сорок или шестьдесят.

– Дура ты!

Совсем почти заснули девочки, но, хоть глаза закрываются, губы еще двигаются.

– У тебя, он сказал, колени, как Тинторетто писал... он сказал...

– А кто это?

– Художник старинный, в альбоме у него, он показывал.

– А как писал? В смысле, что хорошие?

– Наверное...

– Устала, тѣка сита... – закрыла глаза Вера и поцеловала Любу в плечо.

– Кукуля, – отозвалась Люба.

...Вера гладит мужскую рубашку. Люба чистит картошку.

Входит Серж:

– Спасибо, девочки. Любочка, порежь соломкой, и всё.

Спасибо. Вы мне больше сегодня не нужны.

Девочки переглядываются. Одна кивает другой, спрашивает:

– Серж, нам надо ремонт в комнате сделать.

– Ремонт? Уже ремонт захотелось? Быстро вы! – усмехается он.

– Мы хотим, чтоб красиво, – говорит Вера.

– Как у вас, – подтверждает Люба.

Серж становится серьезным. Чешет лоб, трет щеку – такие у него знаки работы мысли...

– Любочки, у вас очень красивая комната. Строго говоря, её можно красиво сделать. Но понимаете, у вас такой хлам... – задумчиво говорит он.

– У нас ничего нет, кроме кровати и швейной машинки, – поправляет его Вера.

– Мы всё выбросили. Давно, – добавляет Люба.

Серж смотрит на них, качает головой.

– Ей-богу, вы мне нравитесь! Правда всё выбросили?

Они кивнули.

– Да.

– Ну а как же отец, родственники? – поинтересовался он.

– Наплевать! – пожала плечами Люба.

– Да он бывает-то у нас раз в год! – сказала Вера.

Серж уже что-то соображает.

– Слушай, Люб, а у вас, кажется, панели сохранились?

– Ну, такие штуки на стенах? Да, – отвечает Люба.

– Помогу, – соглашается Серж, – только обои не покупайте. Покрасим. А панели я, может, распишу... Приткие вы девочки, вот что я скажу!

Вера сложила рубашку.

– Ну, мы пошли.

– Идите. Завтра к двенадцати, возможно, будет большая съемка. Придет мой приятель, хочу продать вас в рекламу. Чтобы были в полном порядке.

– А что надеть? – спросила Вера.

– Наверное, те синие блузки... И захватите с собой черные платья. На всякий случай...

...Поздний вечер. Девочки возвращаются домой. Идут через проходной двор мимо помойки. Видят старую выброшенную мебель.

– Люба, кресло-то старинное, как у Сержа, смотри-ка, – говорит Вера. – Возьмем, что ли?

– Нет, у него какие-то другие, – возражает Люба.

– Возьмем, – предлагает Вера.

– Больно старое. Чинить надо.

Тащат через двор громоздкое псевдовольтеровское кресло, временами присаживаясь на него. Втаскивают в парадное...

Из парадного выходит соседка – гулять с собачкой.

– Здрасьте, тетя Лида! – здороваются девочки.

Соседка смотрит на них с удивлением:

– Девчонки, да вы что? То всё выбрасываете на помойку, то с помойки в дом тащите?

Девочки смотрят друг на друга, начинают хохотать.

– Ох, посмотрела бы на вас мать! – пожимает плечами соседка.

...Девочки одеты, покрашены, собраны. Сидят. Молчат. Говорит Серж:

– Имейте в виду: сдаю вас напрокат. На раз. Вижу в глазах вопрос. Отвечаю: получите десятку за съемку, вне зависимости от того, пойдет работа или нет.

Девочки молчат. Вид несколько обиженный.

– Мы недовольны? Всё справедливо, мышки. Нет никакой уверенности, что вы вообще подойдете для рекламы, а пробы стоят денег. – Он хлопает в ладони. – Любочки! Что случилось? Выражение лица может быть надменным, но ни в коем случае не кислым!

Фыркнула машина под окном. Этаж полуподвальный, ма-

шина остановилась рядом.

– Приехал. Человек он профессиональный, фотограф. Искусством не интересуется. Деловой, – сказал Серж и пошел открывать.

Вошел толстый светловолосый человек, с аппаратурой, с кофром, бросил:

– Привет!

Вышел. Потом принес ящик с какими-то продуктами, банками-склянками.

Серж свистнул.

– Откуда?

– Из лесу, вестимо. Роскооперация, – сбросил ящик, сел на стул. Посмотрел на девочек внимательным глазом, сказал: – А вы мне не очень-то подходите, девчата. Серж! Мне бы какую-нибудь телку килограмм на девяносто! Внешпосылторг заказчик. Мед, брусника, грибки сушеные, грибки соленые...

– Ты совсем без фантазии, Вадик. Не понимаю, как ты свой миллион делаешь? – удивился Серж. – А девушки – голубушки. Душеньки-подруженьки! Ты что? Трогательная девчушка в платочке...

– Ну, тогда уж совсем наив... – согласился Вадим.

Серж притащил деревянную ложку. Повязал девочкам платочки. Одной – красный, другой – белый. Поправил грим, и пошла работа.

– Никаких улыбок! – крикнул Серж на Любочку. – Убью!

Застрелю! Зарэжу! Смотри в миски, на грибы смотри!
Щёлк! Щёлк! Щёлк!

...Ушли девочки, стоят натюрморты из банок, грибов, орехов. Серж и Вадим пьют коньяк.

– Ну хорошо, а что Внешпосылторг? – спрашивает Серж.

– Я сворачиваю, Серж. Дженнифер меня вполне устраивает. Я говорил тебе, бумаги подали, – отозвался Вадим.

– Ах, вот как? Я не знал, – слегка удивился Серж. – Молодец.

– Да что молодец? Риска нет. Никакого. Слушай, а славные у тебя девчушки. Не поделишься? – поинтересовался Вадим.

– Тебе которую? – уточнил Серж.

– Да они ж одинаковые. Любую, – рассмеялся Вадим, – которая с краю.

– Чего я в тебе не одобряю, Вадик, это отсутствия фантазии. Я бы на твоём месте подписался сразу на двух. Пикантно, по крайней мере.

– Ладно, разберусь. Так как, даешь?

– Нет. Я с ними работаю.

– Понятно. А кстати, не собираешься отдать должок? – как бы невзначай поинтересовался Вадим.

– А, ты так ставишь вопрос! Грамотно! – Серж качает головой. – Чёрт с тобой. В субботу поведешь куда-нибудь. В хорошее место, сам выберешь.

– С удовольствием, сэр, – согласился Вадим.
– Ты прост, Вадик. – Серж поднял рюмку, выпил.
– Да, – охотно согласился Вадим. – Я человек простой.
Как грабли.

...Бедра Веры обмотаны тканью полосато-цветочного рисунка. Там, где кончается рисунок, по голой коже спины и груди Серж наносит кисточный узор, поднимающийся к соскам и вползающий в плечи.

– Там, где подсохло, – обращается он к Любе, – ты пройди масляным тампоном. Ткань-то шелковая, а кожа совсем не блестит. Подфактурить надо.

Люба касается тампоном Вериной груди.

С улицы слышен крик:

– Женя! Ты идешь? Жень!

Серж подходит к окну, поднимает занавеску и говорит Любе:

– Пойди-ка сюда!

Из противоположного подъезда выходит мальчик с сеттером. Худой, рыжеволосый, лет шестнадцати, с тонким лицом. Его ждет приятель с овчаркой.

– Видишь? Я хочу, чтобы ты с ним познакомилась и пригласила ко мне в гости. К дяде в гости...

– Он здесь живет? – спросила Люба.

– Да, каждое утро и каждый вечер гуляет с собакой в том скверике на углу. Я его порисовать хочу... – объясняет Серж.

– Хорошо, – равнодушно соглашается Люба.

Вера подходит к окну, любопытствует.

– Да мы его здесь сто раз видели.

– Ну, тем лучше, – отзывается Серж. – Интересное лицо.

Но как-то неудобно мне на улице подходить...

– ...Нет, мы не здесь живем. Здесь дядя наш. У него там мастерская. Мы ему помогаем, – объясняет Люба рыжеволосому мальчику, стоящему возле двери Сержа. Мальчик с другом. Люба нажимает на звонок.

– А удобно, что мы к вашему дяде такой компанией завалимся? – спрашивает приятель.

– Конечно удобно, – уверяет Люба мальчиков, – он человек гостеприимный. – И жеманно улыбается.

– Сварит кофе и поставит хорошую музыку, – обещает Вера.

– А какая у него музыка? Какие группы? – оживает рыженький.

– Да какие группы! У него целый шкаф специальный пластинок, американских и всяких там... – хвастает Вера с выражением полной причастности к этому богатству.

Дверь открывается, предстает Серж в стёганом шелковом халате.

– О, какие люди! – неопределенно приветствует Серж. – Проходите.

В комнате Серж обращается к рыженькому:

– А вы хозяин моего знакомого сеттера, не так ли?

– Да, мой... – кивает мальчик.

– Старенький уже, но собачка хорошая, хорошая, – улыбается Серж, – и ваше лицо мне знакомо.

– Так я же в доме напротив живу, – объясняет мальчик.

– О нет, совершенно иным образом, – улыбается Серж и, изогнувшись, снимает с полки большой альбом, раскрывает его на середине и показывает длиннолицего ангела с музыкальным инструментом, напоминающим саксофон. – Большое сходство...

Все склонились над альбомом, а Серж включил свой изумительный джаз и вытащил ручную мельницу.

– Да вы садитесь, садитесь. Любочки, сейчас я сварю вам кофе. Этот инструмент, – указал пальцем на ангельскую трубу, – больше всего похож на саксофон, не правда ли? Мне это представляется более чем естественным. Истинный ангельский голос, конечно же, не трубный, а именно саксофонный, с этим изумительным оттенком, который дает металл инструмента в сочетании с деревом мундштука.

Этот старик Сакс был гений, гений...

Рыженький тарасил на Сержа прозрачные глаза. Он почти забыл про милую девочку, которая так неожиданно возникла, смотрел по сторонам, восхищался. А Серж ставил на стол кофе, и коньяк, и металлические затейливые рюмочки... Фыркнула машина под окном – Верочка тихо скользнула к выходу. Вадим за ней заехал.

В кресле патриархом сидит Серж, подливая коньяк и подбадривая хилое веселье. Рыженький Женя танцует с Любочкой что-то блюзовое, томительное, вприжимку и чуть покачиваясь. Приятель его засыпает в кресле. Серж встал в дверном проеме и отозвал Любу:

– Детка, забери того парня и уходи. Поняла?

Люба кивает.

...И вот Люба с пьяным кавалером уже идет по переулку. Он держит ее за руку и просит, чуть не плача:

– Я тебя прошу, понимаешь... Ты будешь моя девушка. Мы так договорились. Только позвоню. Только ты не уходи. Мы так договорились: в зеленом – Женькина, в синем – моя. Ты моя девушка. Я только позвоню, извини, мне надо домой позвонить... Понимаешь...

Он пытается одновременно открыть тугую дверь телефонной будки и удержать около себя Любочку. Люба захлопывает дверь, вырывается и бежит по переулку. Парень вываливается из будки и бросает ей вдогонку:

– Эй, погоди! Я прошу тебя, не уходи...

...Серж держит рыженького за плечи. Оба склонились над унитазом. Женю рвёт. Серж его утешает:

– Ничего, ничего, всё нормально... Сейчас умоешься, примешь душ, через пятнадцать минут будешь в полном порядке.

– А где она? Куда она? Вера была... – бормочет мальчик.

– У тебя чисто арийское строение головы, – говорит Серж Жене. Он умывает его, в зеркале отражаются крупная черно-седая голова Сержа и рыжая, продолговатая – Женина. Серж положил на плечо юноши руку – с нежностью, превышающей чисто дружеское участие. Прижал к себе.

– Здорово заметно, что мы выпили? – слегка шарахнулся Женья.

– Ерунда. Примешь душ, и всё будет о'кей. – Серж помогает Жене расстегнуть пуговицы на рубашке.

...Дома у девочек – пошивочная мастерская. Лоскуты на полу, ткани разложены на газетах. На кровати лежат два одинаковых вечерних платья и одно легкое пальто. На полу сидит Люба, в руках ее – журнал “Линеа Италиана”.

– Мы могли бы эти плечи сделать... напрасно он сказал, чтоб японку делали, – заметила Люба, разглядывая картинку.

– Да здесь лекал-то нет. Мы и так еле успеваем, – подшивая подкладку пальто, отвечает Вера. – Ну надо же, чтоб из мебельной ткани, а вышло первый класс!

– Гениальный мужик потому что... – задумчиво говорит Люба.

– Вкус потрясающий, – соглашается Вера.

– Сказал, экзамен. Как ты думаешь, кто-нибудь будет? – спросила Люба сестру.

– Не знаю, Люб. Мне кажется, там будет прием, много народу и танцы.

– Нет, если бы танцы, он бы велел другие платья шить. В таких не потанцуешь. Узенькие больно.

– А давай разрез подыдем, – предложила Вера.

– Так это до самой жопы надо, – сказала Люба.

– Нет уж, оставь, как велел. Между прочим, женщины либерти не задирают ноги! – заключила Вера.

– Олег сказал, что наш танец – танго, – подтвердила Люба.

Вскочила и, напевая танго, обхватила сестру, и они стройненько прошлись по комнате в самом изысканном, салонном танго...

...Они вошли в ресторан втроём: Вера, Люба и Серж. Все головы повернулись в их сторону. Таких элегантных девушек здесь не часто видят. Прошли в кабинет. Навстречу поднялся Вадим. Приём, как оказалось, был небольшой, но по-купечески богатый.

Стол заставлен закусками, всё сверкает.

– Добрый вечер, – почтительно сказал Вадим, целуя девочкам руки.

– Мы с вами уже встречались, – светски улыбнулась Люба.

– И даже вместе работали, – добавила Вера.

Серж гордо улыбнулся.

...Люба сидит на кровати, злая, сгорбленная. Вера носит-

ся по комнате полуодетая и тараторит:

– Любочка, не обижайся, ну прошу тебя! Я сначала хотела тебе позвонить, ну ты же знаешь, как Лидка злится, когда звонки поздние. Конец света! Ты себе не представляешь! Это вообще другая жизнь, всё-всё другое! Кукуля ситá! На полу ковер вот такой толстый. А музыка – обалдеть! А Вадим как с королевой со мной. По лестнице на руках внес. Вот честное слово! Не веришь? А потом... это вообще не передать. У нас такого еще не было...

– Ты что, к нему уходишь? Дома жить не будешь? Да? – тихо спросила Люба.

– Я бы ушла, если б позвал, – весело отвечает Вера.

– А я как же? – спрашивает Люба, – Я что, здесь останусь? Да?

– Любочка! Я же на дачу с ним, на пару дней только. На несколько. Мы же теперь принцессы! Принцессы! – трещит Вера. – Люб, а поесть ничего нет?

– На кухне каша на сковородке, – сухо говорит Люба. – Он что, и не покормил тебя?

– Нет, просто есть не могла. У него холодильник набит, чего только нет, и всё банки, банки заграничные и бутылки всякие. Из “Березки”, точно. А он говорит: мне всегда нравились крупные рослые девушки, у меня первый раз такая птичка, прелесть такая.

– Он сначала меня пригласил танцевать, – сухо сказала Люба.

– Ну, сначала тебя, потом меня. Да ты себе еще лучше найдешь, – оправдывается Вера.

– Он тебя замуж не звал? – ревниво спрашивает Люба.

– Нет еще. Но мне кажется, он в меня ужас как влюбился, – глупо хихикает Вера. – Он сказал, что я его с ума свела! Так и сказал.

– Вер, но если по-честному, то теперь моя очередь, вот что, – сказала Люба.

Вера замерла.

– Люб, у нас всё с тобой общее. Только... в этот раз... прошу тебя... оставь его мне.

– Ладно, Вер, ну хорошо. А как с Сержем будет? Работа и всё такое? – строгим голосом спросила Люба.

– Любань, да ты что? Обалдела, что ли? Всё как было, так и будет. По очереди позируем, а уборка, шитьё, всё по мастерской как было, так и будет. Я от Сержа уходить не собираюсь. Ты что? – изумилась Вера.

– Тогда ещё ладно. А то я подумала, ты меня совсем бросаешь. Тебе Вадим, а мне Генка, Куцый, шваль всякая. Да? – зашмыгала носом Люба.

– Ну ты даёшь! Ну скажешь! Когда это они у нас были, Генки эти? Сто лет прошло! Забыли давно, чем они пахнут! Да у тебя ещё лучше моего будет, вот увидишь! Может, тебе сам Серж достанется! Вот!

– Ага! Достанется! Как же! Карман пошире! И еще Янковский, Филатов и этот, как его, Абдулов! – И Люба бросилась

в подушку рыдать.

Вера легла рядом с ней, обняла, поцеловала в тонкую бледную шею... Объятия их, как всегда, успокаивали. Отреветившись, Люба подняла зарёванное лицо и деловито спросила:

– Вер, слушь... А Серж – он ведь ужас какой шикарный, а? Вера кивнула...

...Танцующей походкой, с букетом цветов Люба подходит к двери Сержа, звонит. Открывают.

– В чем дело, Люба? Что случилось? – удивленно спрашивает Серж.

– Я шла мимо, – игриво заявляет Люба. Серж хмыкает.

– Ты же знаешь, я после девяти не работаю.

– А я просто в гости... можно? – вертится Люба.

– Хорошо. Заходи, – довольно сухо принимает ее Серж. – Хотя должен тебе сказать, что интеллигентные люди без звонка не ходят в гости. Звонят предварительно.

Личико Любы слегка вытягивается, но она не отступает. Усаживается в кресло, играет букетом, нюхает его. Серж отодвигается от своего рабочего стола, где лежат лупа и крупная старинная медаль, которую он рассматривал...

– Красивые цветы, правда? – совсем уже натужно пытается поддержать общение Люба.

– Красивые, – осторожно отвечает Серж.

Люба подходит к нему, перегибаясь через него, кладет

цветы на стол, обнимает его за плечи:

– Серж, а из меня получилась женщина либерти?

Серж кивает.

– А тебе нравятся женщины этого типа? – спрашивает она, заглядывая ему в глаза снизу.

Он смотрит на нее со странным выражением, кладет себе на колени, переворачивает лицом вниз, засовывает руку под платье, поднимает его и, взяв в руки рассыпавшийся букет, довольно сильно стегает ее по ягодицам.

– Ой! – вскрикивает Люба от неожиданности.

Серж легко удерживает ее одной рукой, продолжая стегать. Потом оправляет платье, поднимает ее на руки и несет к двери.

– Иди, женщина либерти. И не забудь: завтра жду вас к двум. Всё поняла?

Закрывает дверь, улыбаясь, берет растрепанные цветы и выбрасывает в круглую корзину для мусора под столом.

– ...Воды дай, – просит Вадим, и Вера выскальзывает из-под одеяла и идет за водой. Открывает холодильник, столь поразивший ее воображение, достает бутылку минеральной воды, наливает в стакан и несет его осторожно, держа в обеих руках.

– Вадим, вода. – Подает стакан. Он выпивает, она забирает из его рук стакан, становится на колени рядом с тахтой, не отпускает его руки, прижимает руку к себе, целует.

– Попроси еще чего-нибудь, – шепчет Вера.

– Спать ложись, – отвечает Вадим.

– Ты не понимаешь, не понимаешь... Мне все время хочется для тебя делать что-нибудь такое... невозможное... чтоб тебе кровь мою перелили... я бы для тебя всё могла, не знаю чего. – Рука его толстая, мускулистая, Верка вся как эта мощная рука.

Он подхватывает её, сажает себе на грудь. Просыпается.

– Ты меня любишь?

– Очень, Вадим, – выдыхает воздух Вера.

– И для меня на всё готова?

Она кивает.

– И всё для меня сделаешь?

Она опять кивает.

– Завтра утром уйдешь отсюда и не придешь, пока я тебя не позову...

– Как? – изумляется Вера. – Почему?

– Приезжает завтра моя невеста, англичанка. Я женюсь, Вера.

Вера смотрит на Вадима непонимающими глазами.

– Я женюсь на англичанке и уезжаю, – повторил он.

Вера обхватывает голову, как будто защищаясь от удара.

– А я? – неживыми губами говорит она. – А я?

– Детка, у меня есть хорошая мысль: ты поедешь на юг. В Ялту или в Сочи. Снимешь квартиру и будешь меня ждать. А я недели через три, как закончу все дела, к тебе подскочу,

а? – Вадим гладит Веру по голове.

– А она... вот сюда придет? – Вера касается рукой тахты, на которой лежит Вадим. Вадим молчит. – А-а! – кричит Вера, взметнув вверх кулаки.

– Иди, иди сюда, не кричи! – Вадим подминает Верку, зажимает ей рот, а она всё продолжает кричать, впивается ногтями в его шею.

...Мчится по улице, по самой середине машина скорой помощи. Улица пустая, час предрассветный. Машина сворачивает в переулок, останавливается возле знакомого дома стиля модерн. Выскакивают двое молодых мужчин – в парадное, по лестнице. Быстро, движения точные. Бригада реанимации.

Любочка в вечернем платье встречает их у дверей открытой квартиры.

– Сюда, – открывает дверь в комнату.

На кровати, поверх одеяла, лежит Вера. На вид – мертвая. Тонкая белая рука свесилась вниз.

Врач поднимает веко. Рука на пульсе.

– Жива, – констатирует. – Чем она, не знаете?

Люба протягивает две стеклянные трубочки. Пустые. Он рассматривает на свет надпись.

– Понятно, – говорит молодой врач, – дело плохо. Когда она выпила, как вы думаете?

– Не знаю. Я вчера вечером ушла, ее дома не было, а при-

шла вот час назад из гостей... Думала, она мертвая. Потом вижу – дышит.

Любочка вцепилась в руку врача.

– Спасите! Спасите!

Врач устало стряхивает руку, обращается ко второму:

– Промоем?

– Пульс нитевидный, Костя. Опасно, – отвечает другой.

– Без тебя знаю. Ставь капельницу.

– Как знаешь...

Потянулись шланги, какое-то стекло, колбы из чемоданчика врачебного.

– Две простыни, два таза, быстро, быстро, – командует врач.

Люба в своем вечернем платье мечется по комнате. В дверях – лицо соседки тети Лиды.

...Перед дверью, на которой написано “Реанимация”, сидит на стуле Люба. Всё в том же вечернем платье. Тушь потекла, лицо размазано, глаза в одну точку. Выходит крупная врачиха, садится рядом с Любой.

– Как тебя зовут? – спрашивает.

– Люба, – безучастно отвечает.

– Любочка, жива твоя сестра. Она в очень тяжелом состоянии. Не знаю, сможем ли её вытащить.

– Господи... – шепчет Люба, – что делать-то? Может, принести ей лекарства какие... я всё достану... икру...

– Какая икра, – покачала головой врачиха. – Ей повезло, что она к нам попала. У нас единственное место в Москве, где есть хорошая аппаратура. Ее подключили к аппаратам, они ей кровь гоняют, чистят. Теперь от врачей ничего не зависит. Мы, что могли, сделали, а ты иди домой, жди. Не надо тебе здесь сидеть. Родители уже знают?

– Нет у нас. Матери нет. Отец – алкаш, – всё так же безучастно отвечает Люба.

– Вот ты пойди к отцу, побудь с ним. Всякое бывает. Она молодая, организм... – врачиха запнулась, – организм крепкий...

...Люба выходит из электрички, всё в том же вечернем платье, в босоножках на высоких каблуках, ступает на деревянный настил. Доходит до лестницы, сходит на тропинку, снимает босоножки и, держа их в руках, идет по дороге. Ее обгоняют мотоцикл, тетки с хозяйственными сумками. Она сворачивает с тропинки, идет через помоечный нечистый кустарник, выходит к оврагу, спускается, поднимается вверх и выходит к покосившемуся неряшливому дому в три окна, с разваливающимися хозяйственными постройками. Идет через двор, заросший сорняком, подходит к незакрытой двери, стучит, входит.

– Дед! – кричит Люба. – Дед! Василий Федорович!

Никто не отзывается. Темная внутренность дома. Грязь и бедность. Незаправленная кровать с кучей тряпья, вместо

одеяла – тулуп. Бутылки, грязные кастрюли на столе.

Дед появляется из-за Любиной спины. Некрасивый кри-
вой старик с приплюснутым носом.

– Чего орешь? – спрашивает дед.

Люба вздрагивает, пугается.

– Я, вот, приехала, – наклоняет голову Люба. – Здрав-
ствуй.

– Ой, радость моя! – кривляется дед. – Внучка приехала!
Щас за соседями побегу, праздник гулять будем!

Замолчал дед. Молчит Люба. Долго молчит.

– Ну, чего надо? Говори, чего приехала-то? Чай, не в го-
сти.

– Верка отравилась. Плохо очень, – заплакала Люба.

– Как мать ваша померла, ни разу я вас здесь не видел. Че-
го теперь-то вдруг прискакала? – сердито выговаривает дед.

– Помоги, – через слезы просит Люба. – Помоги.

– О, помоги! У вас свои помочи! Что я, лекарь, что ли? У
вас тама всего полно, пусть и помогают, – всё сердится дед, –
я-то при чем?

– Помоги, – всё твердит Люба. – Ты можешь...

– Отравилась! И пусть помирает! Бляди! У-у! Блядская
порода! – зло хрипит старик. И тут стало видно, что он
нетрезвый.

Сказал и вышел. Помочился возле двери. Люба сидит на
стуле перед грязным столом. Дед проковылял через двор к
сараяшке, вошел туда, скоро вышел, неся что-то в руках.

Подошел к Любе, сунул ей в руку большой темный клубок.

– Держи! В правой держи, а на левую мотай. От себя. У, дура... Чего смотришь, как овца? Не понимаешь? Нитку держи крепко и тяни. Чтоб не померла... Изю всех сил тяни... Блядская вся ваша порода...

...Люба сидит на том же стуле возле реанимации, все в том же вечернем платье. В руках клубок. Сидит и мотает. Клубок кончился, она его переложилa из руки в руку и снова стала мотать, тянуть. Из-за двери выглядывают две медсестры.

– Всё сидит? – спрашивает одна.

– Третьи сутки, – отвечает другая.

– Может, поестъ ей принести?

– Я уже предлагала, она только головой мотает. По-моему, она того... – Сестра крутит рукой возле виска.

– Тань, да кто ж двинется, подумай! Девчонки – сироты, и одна-единственная сестра...

– Думать надо, Валя, вот что... Если из-за таких дел травиться, травилки на всех не хватит...

...В психушку! В психушку! Ее посадят в психушку, вот что! Еще недели две подержат и переведут! – кричит Люба. Серж молчит.

– Ну сделай же что-нибудь, прошу тебя!

Серж молчит. Перебирает пальцами какие-то бумаги, хмурится. И говорит – впервые за все время вдруг пробивается кавказский акцент:

– Люба, дорогая, я заберу ее под расписку. Заберу, да. Но ты сама говоришь, что она молчит, сама не ест, не хочет разговаривать, смотрит в стенку. Я не умею лечить депрессию. И я хорошо знаю, что это такое. Я сам в вашем возрасте всё это проделал. Смотри, вот!

Он закатал рукава рубашки, и Любочка увидела на обеих руках крупные поперечные шрамы.

– Нельзя быть беззащитным, Люба. Поломаетесь, – вздохнул он. – Бедные мои Любочки...

– Лучше бы она его убила, – шепчет Люба.

– Я не знаю, лучше ли это... Но теперь он уже в Лондоне, – ответил Серж.

...Они выходят из такси: Серж, Вера, Люба. Вера коротко острижена, страшно худа. Она совершенно не накрашена и выглядит маленькой девочкой. Входят в мастерскую, садятся за маленький стол. Стол красиво и грамотно накрыт. Какая-то еда в старинной водяной грелке. Возле одного из приборов лежит круглая коробочка.

– Верочка, это тебе подарок, – говорит ей Серж.

– Мне? Зачем? – равнодушно спрашивает Вера.

– Детка, знаешь, будем считать, что это твой новый день рождения. Ты умерла и родилась заново. Ушла и пришла но-

вая. Маленькая и глупая ушла, а новая – умная, взрослая, совсем другая – пришла.

Вера раскрыла коробочку и вынула старинный гранатовый крест.

– Какой красивый! – вздохнула Вера. Положила крест на тарелку.

– Надень, – попросил Серж.

Люба надела на Веру крест.

– Надо бы платье открытое, – заметила Люба.

Серж поднял крышку грелки, понюхал, завел глаза.

– Никто не посмеет сказать, что умеет готовить долму лучше меня.

Раскладывает еду по тарелкам. Замер, глядит на Верку.

– Ты, Вера, будешь носить жемчуга и изумруды, как флорентийка, а ты, Люба, алмазы и черные агаты. – Он поднял вверх палец. – Но что для этого нужно, а?

Вера улыбнулась.

– Я знаю, Серж. Работать, работать и работать.

Серж поцеловал ей руку.

– У меня гениальные ученицы.

– А я? – подняла нарисованные брови Люба.

– Я же сказал – ученицы! – подчеркнул Серж. – С завтрашнего дня, Верочка, ты будешь ходить к моему другу. Он психолог, умнейший человек, у него потрясающие методики анализа. Он поможет тебе... К тому же это будет тебе очень интересно – поработать с ним немного... Кроме того, у меня

есть для вас сюрприз: вчера я заключил договор на оформление большой ювелирной выставки во Франции. Вы будете моими моделями, я оговорил это в договоре.

– Мы поедem во Францию? – ахнула Люба.

– Нет, – засмеялся Серж, – не торопитесь так. Пока поедут во Францию ваши фотографии. Но очень крупные...

...Утро в комнате девочек. Люба одета, накрашена. Вера сидит в постели неприбранная, в рубашке.

– Вставай и одевайся, Вер, – просит ее Люба.

Вера качает головой, грызет ноготь.

– Сколько можно в постели лежать? Не надоело?

Вера молчит.

– Мне уже надоело на тебя смотреть. Серж сердится. Говорит, ты ему всю работу срываешь. Пошли, Вер, ну пошли, – просит Люба.

– Ну, хорошо, хорошо, я приду сегодня к Сержу. Попозже, к вечеру. Люб, я сейчас встать не могу. Не хочу я сейчас вставать, – опустила голову Вера.

...Люба сидит у деда. На этот раз привезла ему продукты. На столе колбаса, печенье, бутылка красного вина, уже початая. Дед, довольный, сидит за грязным столом. И обстановка всё та же, как будто и не прошло времени. Кровать раскрыта, и тулуп на ней.

– Дуры вы, девки... Дуры... А чего Верка не приехала? –

спрашивает дед.

– Она всё болеет, дедушка. Так-то она здорова. Откачали. Только молчит и ничего делать не хочет. Лежит, и всё, – жалуется Люба.

– А ты думала как? Кто туда заглядывает, надолго запоминает, – отвечает дед.

– Чего же она, всегда теперь такая будет, да? – спрашивает она.

– Так у ту сторону, Люб, ох, тянет, ох, засасывает, как ты думаешь-то? – объясняет дед.

– А я думаю, – с неожиданной яростью, привстав над стулом, говорит Люба, – я думаю, ему надо отомстить!

Дед мелко засмеялся.

– Не смейся! Научи! – крикнула Люба. – Слышишь, научи!

Дед перестал смеяться, протрезвел и строго сказал:

– Научи тебя! Это свою силу надо иметь, а ты – “научи”!

– А ты дай! Дай! У тебя же есть, я знаю, – потребовала Люба.

Дед налил себе стакан вина, выпил, пожевал колбасы, а Люба всё смотрела на него, не спуская глаз.

– А чего ты сама-то приехала, пусть бы она и приехала, – вильнул дед.

– Я сама хочу, – хмуро сказала Люба.

– А не забоиssi? – спросил дед.

Люба покачала головой.

– Пошли, – велел ей дед и вышел. Люба пошла следом. Он привел ее к сарайчику, откуда в прошлый раз доставал ей темный клубок. Снял завязанную узлом проволоку с проушины и сказал: – Входи.

Вошли в темноту. Когда глаза привыкли, ничего интересного и особенного там не оказалось. Старый хлам сваленный, крестьянские обиходные вещи, давно вышедшие из употребления: деревянная борона, прялка, ухват. В углу, в большом решете лежала темная кошка с подросшими уже котятками. Старик нагнулся над кошкой, взял одного котенка, потом положил его, выбрал другого, сунул Любе в руку.

– Ну-ка, задуши его, – сказал дед. – Задуши рукой-то, левой.

– Да ты что, дед? – ужаснулась Люба. – Зачем его душить-то?

– Клади и валяй отсюда, – сказал дед. – Не можешь.

– Могу! – взвилась Любка. – Могу!

И стала сжимать свой маленький кулак вокруг шеи котенка. Котенок пискнул и замер. Люба разжала руку – котенок был мертв. Дед взял его и бросил в сторону. Кошка встревоженно высунулась из решета.

– Пошли, что ли! – рявкнул дед, и они вышли на яркое солнце. – Ну всё, прощай пока!

– Дед, ты обещал! – взмолилась Люба, чувствуя себя обманутой.

– Чего я тебе обещал, дура?! – рассердился дед.

– Ну, это... силу... – промямлила Люба.

– Иди, иди, всё у тебя есть, – всё больше сердился дед.

– Дедушка, я же отомстить ему хочу, пойми ты! – опять умоляет она старика.

Он сел на чурбачок, закурил дешёвую сигарету и, глядя в землю, сказал:

– Если тебе чего надо, ты думай, что уж оно так и есть. Всё, как ты и задумала. Много чего есть. А сильнее этого ничего нет, девка.

...Вера всё-таки пришла к психоаналитику. Белая маленькая комната. Немолодой человек в круглых очках, кудрявый, седой, западного образца. На стенах – репродукции странных геометрических картин. На одной Эшер, на другой мандала. Вера сидит напротив. Разговор начался уже давно.

– Я говорил не о той истории. Сейчас – о том, что сегодня, вчера – самое мучительное, самое неприятное – сейчас. Надо подумать и назвать: что? – спрашивает мужчина.

– Стыдно, – отвечает Вера. – Стыдно перед Сержем, перед сестрой.

– Вот, вот! Отлично! Стыд! – обрадовался человек. – Стыд! Это правильно. Он такой тяжёлый, душит. Вот здесь, да? – показывает рукой на шею. – Надо его весь собрать и снять с себя. Снимите ваш шейный платок, да. Это ваш стыд. Вы снимаете его и бросаете. Бросайте, бросайте!

Вера отбрасывает платок.

– Очень хорошо. Сейчас, сразу же станет легче. Сейчас вы почувствуете облегчение. А чуть раньше – мы живем обратно, в ту сторону, назад. Что раньше? Какое самое тяжелое чувство там, раньше? – Он требовательно смотрит на нее.

– Я его ненавижу. Ненавижу... – шепчет Вера.

– Правильно. И это очень тяжело. Чувство сильнее вас, больше вас, его невозможно вынести, такое оно огромное и тяжелое. Правда? – Вера кивает. – Надо его снять. Надо освободиться. Надо избавиться, выбросить. Как снимают с себя рубашку. Как старье с себя сбрасывают. Ну, сама, сама...

Вера медленно расстегивает пуговицы блузки.

– Молодец, правильно. Снимай и выбрасывай, освободи себя. Вот так. И сразу же легче, легче. Задышала по-другому.

Блузка летит на пол.

– Еще немного назад, еще немного назад, – с давлением говорит он.

Вера начинает плакать.

– Ну что там, что? Говорите, пожалуйста. Надо всё сказать, чтобы освободить себя, – внушает он. – Это огромный груз, тебе не под силу его тянуть. И не надо. Сейчас ты будешь новая, легкая...

– Я люблю его, я ужасно его люблю. Я ничего не могу поделать, – жалобно говорит Вера.

– Глупости, глупости. Ерунда. Лишнее. Снять, снять, убрать. Этого и не было ничего. Не должно быть. Не любишь.

Толстый, старый. Пахнет плохо. Нельзя его любить. Ошибка какая-то. Заблуждение. Совсем не любишь. – Он подходит к ней, расстегивает пуговицы на юбке, спускает молнию. – Снимайте. Это старая одежда. Старая грязная одежда. Никакой любви. Надо освободить себя. Верх мы уже освободили. Ты дышишь так хорошо, так легко. Сейчас освободишь низ. И вся тяжесть эта ужасная уйдет. Ну снимай же, снимай!

Вера медленно снимает юбку, бросает на пол.

– Ну вот, видишь, как хорошо. Ты свободна, свободна, и тебе хорошо. И мы опять назад, назад двигаемся. Вспомни, что там тебе мешало, вспомни. Почему плохо, ну? – настаивает он.

– Отец женился на Тоньке, на мачехе. Мы там жили. Она нас ненавидела. Колготки рваные вечно. В школе издевались. И учителя... Отец не понимает ничего, пьяный всегда... – произносит Вера как во сне.

– Обида. Очень большая обида. Отец перед вами виноват. Обиду надо снять. Время пришло. Всё давно прошло. Обиду снимаем, девочка. И учителя твои идиотские, и одноклассницы, и рваные колготки, и отца – снимай! – требует он.

Вера сбрасывает с ног туфли. Стоит перед ним в трусиках и лифчике.

– Еще немного назад, попробуем. Там было... что? Что?

– Мама! Мама! Мама! – кричит Вера. – Мамочка!

...Щит с юношей отъехал совсем в угол. Вдоль стены – но-

вые щиты. На них – съемка бижутерии, фрагменты оформления выставки. Серж ходит мимо щитов и говорит:

– Ваше ушко, мадемуазель, в масштабе один к двадцати. В количестве десяти экземпляров. Будет основным элементом оформления, модулем, так сказать. Все части вашего юного и прекрасного тела, за очень небольшими исключениями, будут представлены на выставке. К сожалению, изделия, которые мы представляем, недостойны столь прелестной модели. К тому же эти сволочи меня ободрали как липку. Чего и следовало ожидать. В конверте двести рублей, детка. Это тебе. Завтра к шести позировать. И прошу, пусть придет Вера.

Люба взяла конверт, положила его в сумку, села.

– Хорошо сидишь, – отметил Серж. – Знаешь, есть такой забавный винт у длинноногих людей.

Он сел и закрутил одну ногу вокруг другой.

– Ну-ка! – попросил он.

Люба закрутила ногу. Серж поморщился.

– Нет, некрасиво. Вам не идёт, мадемуазель.

Люба, раскрутив одну ногу, закрутила другую, подтянула их и села в причудливой позе. Закурила. Серж смотрит на нее почти с восторгом.

– Серж, скажи, а если бы тебе надо было убить человека, как бы ты его убил? – спросила Люба.

Серж оторопел.

– Надо подумать. Я б его съел, – со зверским выражением сказал он.

– Я серьезно, – строго сказала Люба.

– Любочка, я человек эмоциональный. Я бы мог это сделать только в состоянии аффекта. Ударил бы тем, что под руку подвернулось. Не дай бог...

– А я бы задушила... – страстно сказала Люба.

– Кого? – удивился Серж. Задумался. – Нет, Люба, я думаю, что женщины твоего типа должны пользоваться ядом, который они хранят в перстне. – Поднял руку, мелькнул перстнем.

Тень раздумья мелькнула на ее лице.

– А можно застрелить из пистолета, или задавить машиной, или зарезать ножом, или отрубить голову... – продолжала она.

Серж подошел к ней, взял на руки и посадил на невысокий шкаф.

– Остынь немного, женщина либерти!

...Ненакрашенная, белесая Вера сидит в скомканной постели в своей комнате. Комната девочек преобразилась. Кое-какая мебелишка, с покушением на антикварную. Панели в комнате расписаны какой-то изысканной китайщиной, всё в том же стиле либерти. Видно, Серж руку приложил.

Люба вытряхивает из комода вещи.

– Всё время валялась, всё время под руки попадалась, куда задевалась... – шипит она.

– Зачем тебе? – тихо спрашивает Вера.

– Нужно! Нужно! – закипает Люба. – Вот она, сволочь!
Люба торжествующе подняла белую кепку с козырьком.
– Вот она!

– Ездили на дачу. Он дал, чтобы голову не напекло, – невеста сказала Вера и отвернулась.

– Так это его кепка? Его? – жгуче интересовалась Люба.

– Его, чья же ещё, – вяло ответила Вера.

– Ну, гад, держись! – зашипела Люба и швырнула кепку под ноги.

Козырек хрустнул и переломился. Люба, растаптывая острыми каблуками кепку, приговаривала:

– Так тебе! Так тебе! Так тебе!

Вера посмотрела из-за плеча и накрыла голову одеялом.

Люба подняла кепку и стала ее выкручивать, но этого было как-то недостаточно. Она бросила ее на стол, пронеслась по комнате вихрем и, вытащив откуда-то ножницы, вонзила их в измятую, потерявшую свой празднично-летний вид кепочку. Ткань затрещала. Люба вытащила ножницы и, держа кепку на весу одной рукой, вонзала в нее ножницы, как в живого лютого врага, и постанывала:

– Так! Так! И ещё!

А потом швырнула кепочку прочь и кинулась к Вере:

– Всё! Вставай! Вставай же! Я с ним расправилась!

Вера повернулась к сестре:

– Ты сумасшедшая? Это он со мной... расправился...

...Серж показывает большие фотолисты, на которых изображены московские здания стиля модерн. Их внимательно, с улыбкой рассматривает черноволосый молодой человек в роговых очках, в лиловом шейном платке, в шелковой рубашке. Итальянец, красавец, симпатяга.

– Мне очень нравится, Серж. Это как-то обработана пленка, специально, да?²

– Да, – кивает Серж, – мой секрет.

– Тре бьен, тре бьен, – улыбается Гвидо, – еще есть?

– Конечно, – пожимает плечами Серж. – Я сделал полный каталог московского модерна.

– Опубликовано? – спросил Гвидо.

– Нет, были переговоры с издательством. Ничем не кончились, – ответил Серж.

– Мне это очень нужно. Я хочу купить, Серж, – просит Гвидо.

– Пожалуйста, без негативов, – легко соглашается Серж.

– Я предпочитаю больше заплатить и иметь негативы, – предлагает Гвидо.

– Это будет дорого стоить, – предупреждает Серж.

– Я понимаю. Я хотел бы взять эти фотографии как иллюстрации в мою книгу, – объясняет Гвидо.

Серж перебирает фотографии.

– Ты предполагаешь вынести мое имя на обложку? – спросил Серж.

² Разговор идёт то по-русски, то по-французски.

– Конечно. Если это не создаст тебе трудностей в жизни. Как ты захочешь, Серж, – отвечает Гвидо.

– Полторы тысячи, – сказал Серж.

– Тебе наличные? Как тебе удобней? – спросил Гвидо.

– Нет, пусть пока побудут у тебя. Пока мне нужен только хороший проигрыватель. Сможешь привезти в следующий раз? – спросил Серж.

– Хорошо, конечно, – согласился Гвидо.

Серж тем временем доставал еще одну папку.

– Посмотри мои работы в интерьере, Гвидо.

Перед Гвидо раскинулся большой веер фотографий, на которых сестрички позировали среди стильной мебели, обряженные в шляпки, перья, шелка прекрасной эпохи.

– Боже! Какая женщина! Какая женщина! – ахнул Гвидо.

Итальянец забегал по комнате, не выпуская фотографии из рук. В это время распахнулась дверь и вошла сестричка. Это была Вера. Она была коротко острижена, тонка, бледна и серьезна.

Итальянец бросил фотографии на стол, перепрыгнул через всю комнату и встал перед Верой на колени. Зазвучало, что-то итальянское, длинное, звучное и певучее. Он был прирожденный актер, этот итальянец. В лице его одновременно были и восхищение, и патетический восторг, и лукавство, и юмор...

– Серж! Что он говорит? – с бледной улыбкой спросила Вера.

– Он говорит, – сказал Гвидо, целуя руку, – он говорит: я вас люблю!

Вера вытянула из рук Гвидо пальцы и устало сказала Сержу:

– Кобели, все кобели...

А Гвидо подошел к Сержу, подтащил его к окну и сказал по-французски что-то, чего Вера не поняла. А фраза была такая:

– Серж, я умоляю, оставь нас одних. Послезавтра я уезжаю. На этой женщине я должен жениться.

– Хорошо, Гвидо, я тебя понимаю. Это изумительная женщина, – грустно сказал Серж и вышел.

...Вера сидит в кресле. Гвидо подходит к ней.

– Вера, я говорю серьезно. Я хочу, чтобы ты... – он запнулся, подыскивая слова, – станешь моей женой. Хорошо?

Вера смотрит непонимающими глазами.

– Ты моя жена. Сегодня, сегодня. Послезавтра я уезжаю. Виза кончена. Я приеду опять для брак. Скоро...

Вера молчит.

Гвидо говорит ей какие-то итальянские слова, жаркие и звучные, целует волосы, шею... Со слабой улыбкой Вера расстегивает пуговицы блузки, той самой, в которой была у психоаналитика, и блузка падает на пол.

...На низком подиуме голая сестричка. Ученики Сержа

рисуют. Серж останавливается за спиной толстухи.

– Тамара, эта детализовка никому не нужна. Ты просто убиваешь весь рисунок. Мы уже говорили об этом сто раз...

Смотрит на часы.

– Всё. Заканчиваем. Люба, вы свободны. Я хотел подвести некоторые итоги. Сегодня у нас последнее занятие, мы с вами расстаемся. Не могу сказать, что я очень доволен вашей группой. Откровенно говоря, кое-чему я научил только Наташу и Витю. Ближе к экзаменам я устрою одну-две консультации...

Ребята расходятся. Люба пошла одеваться.

Вынырнула из-за выгородки, уже одетая. Серж взял ее за локоть.

– Послушай, молодая ведьмочка, сегодня мне позвонила мать Вадима. Он в лондонском госпитале с тяжелым инсультом. Паралич. И неизвестно, выживет ли...

– Правда? – взметнулась Люба. – Это правда?

– Какие уж тут шутки, – скривился Серж.

– Боженька – он всё видит! – подняв указательный палец, провозгласила Люба.

– Да при чем тут... Ты ведьма, Люба, – хмуро сказал Серж.

...Детским почерком выводит, нажимая на тупой карандаш: на панихиду, об упокоении Вадима...

Священник стоит перед кануном. На столике перед ним горит множество свечей, стоят кутья, пряники, печенье в

мисках. В руке его кипа листочков; скучным голосом, перебирая листки, он читает:

– Федора, Евдокии, Ивана, Ивана, младенца Александра, Марии, Марии, Ольги, Вадима...

Певчие поют: "...яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа". Человек восемь старух, два пожилых мужичка и светленькая, торжественная Любочка в глубоко повязанном платочке...

...В подъезде дома, где живут сестрички, стоят бывшие их поклонники – Генка, Куцый. С сигаретками в зубах. Генка жалуется приятелю:

– А другой раз подошла с таким голосом, бя: я вас слушаю! Я охуел просто. Говорю, выйди на минутку, а она, бя: забудь номер!

– Да рыло начистить, и всё тут, – советует Куцый.

– Да нахуй она нужна, бя, руки пачкать, гнида, – с глубокой обидой отзывается Генка. Смотрит на часы.

– А может, она и не заявится, – рассуждает Куцый.

– Такая сука, – убивается Генка...

Фырчит машина. Любочку привез домой кавалер, немолодой, с пузцом. Вышел из машины, проводил к подъезду.

– Шпана какая-то толчется, проводи, пожалуйста, наверх, – просит Люба, и они вдвоем входят в подъезд, проходят мимо парней.

– Нет, надо всё же рыло начистить. Мне-то всё равно, но если тебе обидно, так уж чего... – соображает Куцый.

Парочка поднялась к лифту, Люба звякнула ключом от почтового ящика.

– Слушай, да это же была она! – запоздало догадывается Генка.

– Иди ты! – удивляется Куцый.

В роскошной этой сучке, разодетой в пух и прах, они не узнали сразу своей бывшей подружки.

Толстый мужик спустился вниз и вышел из подъезда.

Мальчишки ткнули сигаретами в дверь и вышли следом.

– Вот блядь, – сказал один.

– Но всё же рожу ей надо начистить, – заключил второй.

...Вера, как всегда, в кровати. Горит маленькая лампочка. В руках у нее учебник итальянского языка. Входит Люба с письмом в руках.

– Смотри-ка, Шишова Вера, тебе, из Италии, – и надрыывает конверт. Вера вылетает из постели. Летит на пол учебник. Она выхватывает из рук сестры письмо.

– Отдай!

– Послушай, что это значит? – интересуется Люба. – Учебник этот дурацкий, письмо. – Она пинает учебник, лежащий на полу. – Ты что, итальянца завела, что ли?

– Не твое дело, – машинально, не поднимая головы от письма, отвечает Вера, – не лезь. Тебя не касается.

– Ах, не касается? Когда ты подыхала, то меня касалось! Как я тебя с того света тянула, так касалось! А теперь уже не касается! – взрывается Люба.

Но Вера вся в письме.

– Отстань.

– Ах, отстань? Сдох твой Вадим! Слышишь? В земельку теперь пойдет! Слышишь? – кричит Люба.

Вера опускает руку с письмом.

– Что? Что ты сказала?

– А вот то! – торжествующе выкрикнула Люба. – Что слышала!

– Это ты! Ты! Я не хотела! Это ты его убила, Люба! Зачем? Я знаю, это ножницами... Зачем ты его убила? – выронив письмо, говорит Вера.

– Как – зачем? Для тебя! – сошедшим на шепот голосом отвечает сестре Люба. – Я же для тебя... – Она пятится.

– Я тебя не просила, – подбирая письмо, говорит Вера, – я тебя ни о чем таком не просила... Какая же ты страшная, Люба...

– Страшная? Ах ты, сволочь! – заорала диким голосом Люба.

Вырвала из рук Веры письмо и стала хлестать им её по лицу.

– Отдай! Отдай! – вопит Вера.

И они сплелись в клубок, как две маленькие кошки, царапаются, хватают друг друга за волосы. Замерли. Вера подни-

мает с полу смятое письмо.

– Я замуж выхожу! За итальянца! Поняла! И уеду отсюда к ебени матери...

Люба вытаращила на неё глаза – не ожидала.

– И мне ничего не сказала? – только и смогла из себя выдать.

...Прекрасный город Рим за окном. Комната любителя ар-деко. Перед окном – Гвидо, за большим столом, заваленным бумагами, фотографиями, корректурой. В тонкой витой рамке на столе – фотография Веры. Из тех, что делал Серж.

Стук в дверь, всовывается служанка.

– Синьора Скарпи приехала.

Гвидо встает навстречу матери. Очень красивая полная дама, сильно в годах. Прошла, вынула папиросочницу, закурила, села в кресло.

– Мама, я не ждал...³

– Что происходит, Гвидо? Вчера ты не приехал к дяде Бруно... Ты приехал из России больше месяца назад, я тебя совсем не вижу... Что происходит?

– Мама, я кончаю книгу, у меня очень ограниченный срок, ты же знаешь, – оправдывается Гвидо.

– Вчера у дяди Бруно была Клара. – Мать замолкает, ожидая какой-то реакции, но Гвидо молчит. Мать продолжает: – От Клары я узнала, что, приехав из России, ты ей даже не

³ Разговор по-итальянски, субтитры.

позвонил.

– С Кларой всё кончено, мама, – тихо сказал Гвидо.

– Клара – твоя невеста. Вы помолвлены. Если этот брак не состоится, это большой скандал, Гвидо. Я этого не могу допустить, – холодно и твердо говорит мать.

– Я женюсь на другой женщине, мама. О Кларе забудь. – Он протягивает ей рамку с фотографией. – Зовут Вера. Русская.

Мать мельком взглядывает на фотографию. Она явно не производит на неё впечатления, которого ожидал Гвидо.

– Ты понимаешь, Гвидо, что в этом случае, – она ткнула пальцем в фотографию, – ты вряд ли можешь рассчитывать на поддержку семьи.

Гвидо вскакивает:

– Мама! Я не могу жениться на Кларе!

– Тогда, по крайней мере, скажи ей об этом сам! – Мать выходит из комнаты, оставив дверь открытой. Гвидо вылетает вслед.

– Да встречусь я с Кларой! Занят я, в конце концов!

...Мастерская Сержа.

– Ты сам теперь видишь, Серж, какая она... сука, – тянет Верочка, подставляя расцарапанное лицо и опухшую губу. – Помнишь, я тебя просила ей про Гвидо ничего не говорить? Права была я! Она как узнала, прямо очумела совсем...

Серж смотрит на Веру жестко, презрительно. Как всегда,

когда он бывает в крайнем раздражении, пробивается кавказский акцент.

– Вы обе мне противны, Вера. Сколько времени я на вас потратил! Если бы ты была моя дочь, я бы сейчас тебя выдрал. Слушай! Пойди умойся, приведи себя в порядок, не хочу с лахудрой разговаривать! Гвидо на такой мандавошке не женится! Он на другой женщине женится! Я гордился вами, думал, я сделал что-то красивое. А ты обезьяна только, не можешь человеком быть!

Он встал, отвернулся. Пошарил в столе, вытащил фотографию. Сестрички – одна фас, другая в профиль, слегка совмещенные, лица ангельски-бесплотные, созданные художником.

– На, посмотри...

Вера вышла. Серж закурил свою затейливую трубочку, сел, рассматривая фотографию, проводя пальцами по линии вытянутых щек, вдоль шеи, груди... Потом встал, подошел к щиту с юношей, совместил лица – они были в одном масштабе... И поразительно чем-то схожи...

Вошла Вера – умытая, причесанная. Села напротив, положив перед собой сложенные вывернутые в замок руки.

– А теперь всю сцену сначала, но правильно, – попросил Серж.

Вера вздохнула и начала заново. Теперь это выглядело так:

– Серж, у меня к вам большая просьба: я хочу пару меся-

цев пожить не дома. Поселиться у кого-то или снять. И еще: мне бы хотелось работать здесь с Любой по очереди, через день.

– Отлично, – кивнул Серж. – А теперь – что с Гвидо?

– Гвидо заказал необходимые бумаги, но пока они не готовы. Как только они будут готовы, он приедет, чтобы подать заявление. И в этой связи, – Серж восхищенно покачал головой, – у меня вторая просьба: я бы не хотела, чтобы сестра Люба узнала об этом преждевременно.

Серж встал, погладил Веру по голове.

– Вера, милая, я думаю, ваши проблемы можно разрешить другим способом. Мой друг собирается сейчас в киноэкспедицию в Крым, я попрошу его взять тебя с собой... ну, скажем, в качестве костюмера...

– А как же письма? – вскочила Вера. – Их же в мой почтовый ящик ложут?

Серж засмеялся и поцеловал Веру в макушку.

– Кладут, детка, кладут... Оставь заявление на почте, чтобы всю корреспонденцию на твое имя переводили на меня...

...Сидят в кафе Гвидо и Клара. Клара почти красивая, чуть мужского склада, в очках, просто одета. Гвидо, как всегда, одет изысканно, но выглядит несколько помятым. /Субтитры/:

гвидо: Ты понимаешь, Клара, возникли обстоятельства...

клара: Неужели ты думаешь, что я не догадывалась о твоих новых обстоятельствах?

гвидо: Я страшно виноват перед тобой...

клара: Я не об этом. Подожди. Кроме обстоятельств, есть еще и обязательства... перед семьей...

гвидо: Ах, о чем ты говоришь... какие обязательства! Ты говоришь не о том! Это рок! Рок! Ты изучала античный театр, неужели ты не понимаешь? Ты близкий человек, мы знаем друг друга с детства. Вероятно, мы с тобой были бы счастливы... Но я встретил женщину, которая держит мое сердце, голое сердце, в руках. Я знаю, что это безумие, но я ничего не могу поделать... Все рухнуло в одну минуту... когда я ее увидел...

Клара встала, поправила очки и сказала:

– Мне пора, Гвидо. Прости...

Он пошел за ней.

– Клара, подожди, я отвезу тебя...

– Спасибо. Я поставила машину за углом. Не надо меня провожать.

И они пошли в разные стороны по пустынной площади.

...В мастерской у Сержа.

– Знаешь, Женя, я не очень внимательно слежу за этими группами. Хотя несколько имен ничего... Но это мне совсем не нравится. Ни с какой точки зрения. Ни музыка, ни тем более текст. У них совершенно другие задачи. Послушай вот

Чарли Паркера. – Серж встал, положил перед мальчиком его кассету и поставил пластинку с Чарли Паркером. Томительно заныл гениальный саксофон...

Раздался телефонный звонок. Серж выключил проигрыватель.

– Междугородний, – извиняющимся тоном сказал Жене и снял трубку. – Да, да, здравствуй, дорогая... Двадцать седьмого, да. Приезжай! Телеграмма. Жду, жду... А-а, всё будет в порядке, не волнуйся.

Повесил трубку.

– Это племянница ваша звонила? – спросил Женя.

– Племянница? – недоумевающе переспросил Серж. – А-а... нет, нет, а, да... дорогой мой... Девочки мои уехали... – И Серж снова включил проигрыватель.

...Возле старой части “Националя” останавливается белая интуристская “Волга”. Из нее выходят Гвидо и Вера, загорелая, с отросшими, но еще довольно короткими волосами. Шофер несет за ними два чемодана, большую коробку. Минуют швейцара. Останавливаются возле администраторши, грубо намазанной тетки.

Гвидо улыбается.

– Здравствуйте. Я Гвидо Скарпи. Номер заказан. – Он вынимает документы. – Ключ, пожалуйста.

– Сначала оформление, – поджигает губки дама и начинает шуршать бумажками. Гвидо улыбается, кладет руку Ве-

ре на плечо.

– Сегодня ты совсем другая. Новая. И волосы... – Он шевелит пальцами прядь на затылке.

– Не нравлюсь? – тихо спрашивает Вера.

– Очень, очень, очень, – шепчет Гвидо. – Ты не знаешь, как очень.

Администраторша положила на барьер карточку и ключ и прошипела:

– Простите, с вами дама...

– Моя невеста, – улыбнулся Гвидо.

– Когда она будет вашей женой, мы поселим ее с вами. Правила нашей гостиницы запрещают пребывание в номере посторонних, – важно говорит администраторша.

Гвидо кривится.

– Но подняться со мной она может?

– С предъявлением паспорта, – кивнула тетка.

– Вера, паспорт, – попросил Гвидо у Веры, едва сдерживая раздражение.

– У меня с собой нет, – подняла глаза Вера.

– Прекрасно, – жестко сказал Гвидо. – Попрошу этот чемодан... – он потерял слово, – положить в мой номер. Шофера, пожалуйста.

– Шофер уехал, кажется, – изменившимся тоном сказала администраторша.

– Не уехал. Я плачу “Интуристу” за автомобиль. Просите отнести эти вещи в машину. – Он кивнул на коробку и

оставшийся чемодан и, взяв Веру под руку, вышел.

...В мастерской у Сержа Гвидо дал волю своему итальянскому темпераменту:

– Какая страна! Какая страна, Серж! Самые интеллектуальные, самые тонкие, самые лучшие люди. Но как это?

– Хамство, – подсказывает Серж.

– Империя хамства! – восклицает Гвидо.

– Изумительная по точности оценка! – усмехается Серж.

Встал, раскрыл новенький, только что распечатанный проигрыватель, подключил его и, бережно вынув из конверта пластинку, поставил ее.

– Андрей Волконский. Качество звукозаписи не лучшее. Зато хорошая музыка и уж наверняка хорошее воспроизведение...

И зазвучала бесплотная музыка Возрождения.

Гвидо и Вера сидят друг против друга и смотрят друг на друга – так долго, как будто забыли о Серже, о музыке, обо всем. Серж встал и, обернувшись у двери, сказал:

– До свидания, дети мои.

Хлопнула дверь. Гвидо и Вера встают из-за стола и, как во сне, двигаются навстречу друг другу.

– Здравствуй, душа моя, – говорит Гвидо.

...Вера в белом изысканном платье, Люба его подкалывает. Платье чуть широко.

– Тот зеленый костюм, классный. Балансияга. Ты мне его оставишь, когда уезжать будешь? – спрашивает Люба.

Вера кивает.

– Слуш, ну и как твой италиано, он лучше Вадима? – продолжает Люба.

– Он лучше всех, Люб. И не вздумай пикнуть ему про Вадима, – с жалким каким-то оттенком просит Вера.

– Ты же меня с ним не знакомишь, как я могу говорить или не говорить? – пожимает плечами Люба.

– Завтра увидишь, когда расписываться будем, – обещает Вера.

– Вот и спасибочки хотя на этом, – хмыкает Люба. – Отца не позовешь?

– Да я сказала, что его и нет, – отвечает Вера.

– И правильно, – соглашается Люба.

– У меня просьба к тебе, Люб, – задуманным голосом вдруг говорит Вера.

– Ну?

– Дай слово, что сделаешь... – просит Вера.

– О-о, мало ли чего ты запросишь...

– Люб, я хочу, чтоб ты была другая... На меня не похожа...

– Ты чё, Вер? Того? Как это?

– Как хочешь, Люб, покрасься. Или парик черный надень. Чтобы мы были разные, поняла?

– Ты совсем того, – махнула рукой Люба, – звезданулась,

вот чего...

– Я так хочу... Я так хочу... – настойчиво, с каким-то безумным оттенком говорит Вера.

– И чего ты так боишься, чего боишься-то? Не пойму! – фыркнула Люба.

...Втроем – Гвидо, Вера и Серж – поднимаются по лестнице Дворца бракосочетаний.

– А цветы в автомобиле! – вспоминает Гвидо и выбегает на улицу, где послушно сидит в машине шофер, всё тот же, интуристовский.

– Вера, что с тобой, ты как неживая? – спросил Серж, взяв её за локоть.

– Сейчас Люба придет, – испуганно отвечает Вера.

– Ну и что? – удивляется Серж.

– Ты не понимаешь. Ты не знаешь. Я боюсь, – прошептала Вера.

– Ты? Тебе-то чего бояться? – удивляется Серж.

– Не знаю. Сама не знаю. Она его сейчас в первый раз увидит. Я всё тянула, боялась их знакомить...

Они встретились у входа – Гвидо с цветами и Люба с цветами.

Одинаковые длинностебельные розы. Люба сдержала слово, она и впрямь не была похожа на Веру. Как и обещала, в черном кудрявом парике, в плотном гриме, в устрашающем черно-красном платье. Выглядит старше и грубей.

Серж, увидев Любу, только руками развел...

А дальше всё шло тем комически-непристойным официальным манером – с толстой дамой, завершающей свою речь казенным пируэтом:

– ...мы надеемся, что вы будете свято хранить достоинство советского гражданина.

После чего поставили подписи Вера и Гвидо, а на отдельной странице – Серж и Люба, свидетели.

Тётка отдирижировала обмен кольцами под известный марш Мендельсона. Гвидо сдерживал улыбку, Вера едва держалась на ногах.

Впечатление было такое, что она вот-вот упадет в обморок.

Наконец вышли в коридор, и тут только Гвидо заметил, что Вера еле жива.

– Вера, Вера, душа моя, что ты? Тебе плохо? – забеспокоился он. Отвел в сторону, они пошептались о чем-то, потом Гвидо повернулся к Сержу и Любе: – Друзья! Прошу прощения. Я заказал обед для нас, но Вера плохо себя чувствует, а у меня осталось мало времени до рейс. Мы едем сразу в гостиницу и проведем там несколько... Вы простите, пить будем в “Шереметьево” перед самолетом. Мы заедем за вами по дороге в аэропорт. Я не хочу, чтоб Вера была сегодня одна, – закончил он.

...Гвидо и Вера подходят к администраторше – сидит уже

знакомая. При виде Веры ощеривается. Гвидо швыряет на стол паспорт.

– В восемь уезжаю, – лучезарная улыбка, – прошу автомобиль. Старая сука!

Он с Верой проходит к лифту. Администратор кричит вслед:

– Господин Скарпи! Здесь у вас не всё уплачено, вернитесь, пожалуйста!

Гвидо оборачивается.

– Я провожу мою жену и буду у вас, – всё с той же неугасимой улыбкой.

– ...Ложись, ложись, радость, душа моя, девочка! – Гвидо укладывает Веру. – Сейчас приду...

Выходит. Вера мечется, поднимает трубку, кладет, снова поднимает.

– Алло! Позовите, пожалуйста, Гену... – просит она.

Возвращается Гвидо. Вера лежит на кровати.

– Старая сука. Она хотела, чтобы я оплатил два раза счет, – смеется Гвидо. Он всегда смеется. – Ты немного живая? Ты действительно моя жена? Я буду требовать доказательство. – И снял пиджак. – Да, забыл сказать: Луиджи, ты знаешь, из посольства, тебе поможет. Как только будет паспорт, он сделает визу немедленно и сам тебя отправит. Недели через две, я думаю...

...Люба сняла парик, смотала узелок на макушке, накра-силась заново – высокие брови, уголки губ вниз, на щеках тени. Надела Верин костюм. Потом сняла. Взяла колоду карт. Понюхала зачем-то, вытащила несколько карт наобум, кину-ла веером, рубашками вверх. Полезла в чемодан, который привез Гвидо для Веры. Тряпки отодвинула, на дне нашла пачку писем, фотографии. Вытащила – фотография Гвидо, цветная, нарядная. Гвидо с трубкой в руке, в кепке, вид немного шутовской. Другая – из фотоателье, серьезная. При-чесанный, аккуратный, собранный... Профессор... Люба во-дит пальцем по его лицу. Смотрит на часы. Уже восемь. Вы-глядывает в окно. Машины нет. Прячет всё на место.

Звонок в дверь. Люба идет к двери, но соседка тетя Лида уже открыла. Входит Куцый.

– Привет!

– Ты чего заявился? Я ухожу сейчас! – говорит Люба.

Не успели отойти от двери – опять звонок.

– Как это? Ты ж к восьми звала, – удивляется Куцый.

– Я? Тебя? – в свою очередь удивляется Люба. Открывает дверь. За дверью улыбается Генка:

– Здорово!

В руках бутылка. Он двигается прямо в комнату, подми-гивая на ходу Куцему.

– Послушай-ка, а тебя я тоже приглашала? – спрашивает Люба у Генки.

– Ты что? Пьяная, что ли? Сама же звонила!

Они уже в комнате.

– Ладно. Шутка была. Пошутили, не понимаешь? Нет у меня времени! – говорит Люба.

– Чё? – вдруг разозлился Генка. – Ну ты, бля, даёшь! С тобой по-хорошему... да тебе знаешь ещё когда рожу-то начистить надо было! Паскуда! Правда, Валер? – обратился он к Куцему. Но Куцый и не думает дискутировать. Он уже запер дверь изнутри и, улыбаясь, идет на Любу.

– Не будем ссориться! – Он легонько смазал Любу по щеке. Не больно, но оскорбительно.

– Что вам надо? – жестким голосом сказала Люба.

– Чего всем, того и нам, – усмехнулся Куцый, а Генка только смотрел на старшего друга с восхищением. – Ты сама сыпать будешь, или тебе помочь? Ну, чего стоишь?

...Серж играет в нарды с гостем – белобородым рослым восточным стариком вида благородного и экзотического. Старик выбрасывает кости и говорит:

– Никогда Айказуни не были княжеского рода, они царского рода. И летописи сохранились... Тигран Четвёртый, сын Артабаза, сначала жил в Риме, потом его сделали царем вместо Артксиаса, а сын Артксиаса, Тигран Пятый, армянами не был признан... И род Арсакидов в Армении прервался, а Тигран Шестой был внук Ирода Великого... Вот так, дорогой мой, Айказуни был царского рода, а ваш Астауров – никто!

И тут раздался звонок – пришла Люба.

– Что так поздно? – удивился Серж.

– Ты не знаешь, где Вера? – как бы невзначай спрашивает Люба.

– Как – где? Я последний раз ее видел на свадьбе, – удивился Серж.

– А ты в аэропорт провожать не ездил? – спросила Люба.

– Нет. Гвидо позвонил, попрощался, сказал, что не стоит мне ехать. А ты провожала? – поинтересовался Серж.

– Нет. Я была занята, – сухо заметила Люба. – Вера неделю дома не ночевала. С того самого дня, – задумчиво сказала Люба. – Если узнаешь что-нибудь о ней, скажи мне...

...Вера собирает чемодан. Входит Люба. Вера замерла, стоит над чемоданом.

– Пришла, сестра? – спрашивает Люба, стоя на пороге. Вера подняла голову.

– Я завтра улетаю. Всё. Прощаться пришла.

– Прощаться, когда меня дома нет? – подколола Люба.

– Я тут тебе костюм зеленый оставила, Люб, – примирительно говорит Вера. – Может, еще чего выберешь?

Люба надела на себя черный кудрявый парик.

– Нет, Верочка, спасибо. – Повернула парик на голове задом наперед. Еще раз крутанула его: – Идет, да? – Помолчала немного. – А ты меня хорошо угостила в тот раз. Спасибо тебе. Угостила напоследок.

Вера замерла над чемоданом.

– Вещи собрала?

Вера кивнула.

– И документы?

Вера кивнула.

– Да.

– Отлично! – Люба спрыгнула с кровати, на которой сидела, поджав ноги. – Отлично!

Она пронеслась по комнате, возникла прямо перед Верой с ножницами в руках. Сорвала с себя парик. Вынула из кармана фотографию Гвидо, бросила ее на столик.

– Смотри! Хорош? Итальяно? Да? Муж? Да? А поеду к нему завтра я! Я поеду!

Она распустила узелок волос и стала состригать пряди всё теми же ножницами.

– Чего уставилась? Я поеду!

– Как – ты? – переспросила Вера. – Куда – ты?

– В Италию! Вот так! Я поеду, а ты останешься! – сбрасывая отрезанные пряди, подтвердила Люба.

– Нет, нет... – медленно выговорила Вера. – Нет!

– Да! – выкрикнула Люба.

Она взяла фотографию Гвидо и нацелилась в неё ножницами.

– А если не я, то никто!

Она приблизила ножницы к фотографии.

– Отдай! Отдай! Не трогай его! – завопила Вера.

– Так кто едет? Кто едет? – спросила Люба с улыбкой.

...В мастерской Сержа – Женя. Уютно сидит. У ног Жени – собака.

– А брат тебя на охоту брал? – спрашивает Серж.

– Сколько раз, я и стрелял. Только никого не убил. Он обещал, как из армии вернется, ружье подарит.

– А я давно не охотился... Так, говоришь, нет у тебя ружья? – переспросил Серж и вышел. Женя погладил собаку.

Вернулся Серж – в руках коричневый кожаный чемоданчик странной формы и двустволка. Женя протянул руку, взялся за ствол.

– Э-э, кто же так ружье берет! – усмехнулся Серж и ласково взвесил ружье на ладони: – Нравится?

– Еще бы... У брата тоже хорошее, – сказал Женя.

– Это “Зимсон”. Очень неплохое ружье. А я охотился вот с этим. – Серж раскрыл чемоданчик; в фигурной выемке лежало ружье. – Это “Джеймс Пердей”.

Ружье легко вынулось из замшевого покоя. У Жени глаза заблестели.

– С ним мой дед охотился во Франции и в Испании. Он родился в Африке, жил во Франции, а потом вернулся на родину... Ружье с биографией. – И снова Серж погладил ружье. – Возьми себе одно, Женя.

Серж хотел положить руку на голову, нагнулся. Рука замерла.

– У тебя волосы пахнут травой...

Женя смотрел непонимающе.

– Возьми, возьми ружье, – повторил Серж.

– Как? – изумился мальчик. – В подарок?

– А что же? Это хороший мужской подарок, не правда ли? – улыбнулся Серж.

Мальчик молчал.

– Выбирай: какое больше нравится? – Серж подвинул к нему оба.

Женя взял в руки сначала одно, потом другое.

– Это. – Он указал на второе.

– Твое, – сказал Серж.

– Правда? – вспыхнул Женя.

Серж махнул рукой.

– Нет проблем. У меня есть охотничий билет, куплю лицензию на кабана... Я раньше хорошую охоту знал в предгорьях Кавказа... Егерь приятель был... Давно, правда, – медленно произнес Серж, искоса поглядывая на Женю, который всё глаза не отрывал от ружья.

Раздались истерические трели звонка – Серж вышел. Собака залаяла.

В прихожей – совершенно обезумевшая Вера.

– Серж! Серж!

– В чем дело? Ты не уехала? – Серж загораживает вход в комнату. Из-за портьера выскакивает Женина собака, лает. – После девяти я не принимаю, – резко говорит ей Серж.

– Серж! Серж! Там Люба... она его убьет... Ужас что такое, Серж, Серж! – лепечет Вера.

– Я занят. Я занят сейчас. Немедленно уходи, – резко говорит Серж.

Вера прислонилась к двери.

– Занят? Занят, да? – Она указывает пальцем на собаку. – Я знаю, знаю, кем ты занят... У тебя игрушка новая... игрушка новая... – Руки Веры трясутся. – Да сделай что-нибудь, ты же можешь...

– Вон отсюда. Немедленно. Вон. – Серж выпихивает Веру плечом, запирает за ней дверь.

За дверью Вера прижимается к стене и бьет кулаками по кирпичной кладке. Потом поворачивается и бежит в подъезд напротив. Бегом поднимается по лестнице, минует последний этаж и останавливается возле окна в последнем пролете, ведущем на чердак. Она садится на широкий подоконник и прижимается к стеклу.

– Всё. Всё. Конец. Всё.

...Открывается парадная дверь Сержа: Выходит Женя с ружьем, собакой на поводке. Его провожает Серж. Держит руку на худом плече.

– Ступай, мальчик.

Улыбается. Рвется из раскрытой двери соло из “Хоти блюз” Чарли Паркера.

Счастливый мальчик переходит дорогу и входит в свой

подъезд. Поднимается по лестнице на последний этаж, останавливается у двери, ищет ключи.

– Женья! – слышит голос сверху. – Женья!

Поднимает голову. Цепляет конец поводка за перила и поднимается. На широком подоконнике, подобрав под себя ноги, сидит Вера, кусает ноготь.

– Ты? – удивился Женья. – Я думал, ты уехала... – растерянно говорит Женья.

– Иди сюда, – зовет его Вера. Она пододвигается, освобождая место рядом. Вера обнимает его за шею. Мальчик ставит ружье в угол. Он растерян. Он рад.

Легкая блузка распахивается.

– Ну, иди сюда, иди же. Я тебя так долго ждала.

Скулит собака. Мальчик на подоконнике. Вера целует его, тянет к себе. Запускает руку ему в волосы. Второй рукой поднимает щеколду. Нажимает спиной на стекло. Тянет мальчика к себе. Окно медленно раскрывается.

...Блюз еще не кончился, когда раздался звон разбитого стекла и звук, как будто на землю выплеснули сразу много воды...

Серж отодвигает занавеску, бросается на темную ночную улицу.

На середине неширокого переуллка, на проезжей части лежат Вера и Женья... Лаёт наверху собака. Серж отворачивается от лежащих на земле. Прислоняется к двери...

...Квартира Гвидо в Риме. Балконная дверь открыта. На балконе – Гвидо и его молодая жена. Мерцают цветные стекла в карнизе балкона. Прелестная девушка.

– Вера, как удивительно, радость моя. Ты всегда новая. Всегда другая. Как будто не одна женщина, а много...

Входит служанка, вносит телеграмму.

– Для синьоры...

Синьора берет телеграмму и читает. Латинскими буквами написан текст: “Люба покончила самоубийством. Тетя Лида”.

Синьора комкает телеграмму, прикусывает знакомым жестом большой палец правой руки. Смотрит на Гвидо. Улыбается.

– Поздравление... Нет, нет, Гвидо. Я одна. Я одна...

Они счастливы. Они молоды. Они красивы. Они сидят на балкончике, а перед ними – прекраснейший город мира...

Семья сегодня

Википедия определяет понятие “семья” как социальный институт, базовую ячейку общества. То есть союз мужчины и женщины, добровольно вступивших в брак, связанных общностью быта, стремлением к рождению и воспитанию детей.

Сегодня, кажется, в живых осталась только добровольность вступления в брак. Все остальное сильно покосилось. Мы наблюдаем огромное число семей, где один из супругов уезжает на работу в другой город или в другую страну для того, чтобы содержать оставшуюся на родине семью. Будем ли мы считать семьей те пары, которые не хотят заводить детей? Как относиться к гомосексуальным бракам? Они существуют, нравится это нам или не нравится.

Мир стремительно меняется, с ним меняется и семья.

Прекрасная модель христианского брака: юноша и девушка, не имеющие добрачного опыта, с благословения родителей венчаются в церкви, выполняют все оговоренные в процессе венчания условия – “да убоится жена...” и прочее. Лично я ни одной такой пары, прожившей супружескую жизнь в хрустальном христианском браке, не встречала! Собственно говоря, это вполне соответствует моей давней догадке: христианство – концепция великая, но нереализуемая.

Но как решать проблемы семейной жизни людям, недо-

тягивающим до совершенства, которые нарушают и святость брака, и даже прочие заповеди: то солгут, то украдут... Что делать нам, беднягам... Ответов как минимум два: первый – взять на себя лично труд самосовершенствования и терпения, и второй – разводиться. Немедленно разводиться, потому что ничего разрушительнее, чем плохой брак, на свете нет. Если получилось пройти по первому пути, это и есть семейное счастье. Если вам удалось развестись, не травмировав детей, не оскорбив и не унизив бывшего партнера, – это победа. Я знаю пару, где один ребенок приемный, второй внебрачный, а потом уже в браке были рождены еще двое детишек. Все в порядке, все друг друга любят, правда, родителям тяжело приходится. Дети еще маленькие. Но ничего, вытягивают... Я вовсе не посягаю на “традиционные ценности”. Желаю счастья всем, кто видит семейное устройство незыблемым, непоколебимым, даже не возражаю против использования в быту написанного в XVI веке протопопом Сильвестром прославленного труда “Домострой”. Там есть указания и рекомендации на все случаи жизни. А жизнь тем временем идет со страшной скоростью, и никто сегодня не может сказать, сохранится ли семья в ее сегодняшней форме через сто лет... Но любовь-то сохранится! На это и будем надеяться. В это и будем верить.

Юбилей. Дубль два

Пьеса в двух действиях

Действующие лица

нина викторовна, актриса, 80 лет

георгий, ее сын, 40 лет

маша, жена сына, 40 лет

вадим, сын Георгия, 19 лет

нонна, дочь Георгия, 16 лет

лидия викторовна, сестра Н.В.

вера, дочь Лидии, 42 года

ксюша, дочь Веры, внучка Лидии, 22 года

кирилл александрович, актер, 80 лет

Призраки

николай георгиевич, муж Нины Викторовны

виктор, отец Нины Викторовны

алевтина, мать Нины Викторовны

федор, ее дед

Время действия – 2018 год

первое действие

Большая столовая в прекрасной квартире советских времен. На стенах портреты хозяйки в разных ролях и старые афиши. Стол, на котором стопки тарелок и стоя рюмок и фужеров. Видна часть прихожей. Нина Викторовна провожает свою помощницу Марину. Слышны их голоса.

нина викторовна: Спасибо, Мариночка! Замечательно все сделала. Умница.

марина: Водка и холодец в холодильнике, не забудьте на стол поставить, когда придут.

нина викторовна: Не забуду, не забуду.

марина: И посуду прямо на столе оставьте, ничего не отнесите, не мойте. Я завтра утречком приду, всё перемою, перечищу.

нина викторовна: Спасибо, деточка. Палочка-выручалочка моя. И сумку большую завтра захвати, все остатки из дому вынести.

марина: Да съедят всё! Вкуснотища-то какая! Хорошо вам погулять, Нина Викторовна! *(Идет к двери, возвращается.)* Может, я все же приборы расставляю?

нина викторовна: Спасибо, деточка, не надо! Ничего не расставляем. Фуршет! Чтоб не засиживались... Что за старомодная манера за столом сидеть! Не в ресторане же!

Хлопает дверь. Нина Викторовна входит в комнату и оглядывает стол.

Звонок домашнего телефона.

нина викторовна (*берет трубку*): Алло!

женский голос: Поздравляю, Ниночка! Ты живая, я живая! Кто мог подумать, что мы столько протянем.

нина викторовна: Наташка, я уж думала, ты забыла.

наташа: Как это я могу твой день рождения забыть? Это как свою собственную жизнь забыть. А у меня склероза нет. Я всё помню.

нина викторовна: Да, нам есть чего вспомнить.

наташа: Да... Кой-чего можно и не вспоминать...

нина викторовна: Да-да, а кой-чего можно и забыть. Даже хочется забыть...

наташа: Ладно, Нинка! Здоровья тебе... Долгих лет.

нина викторовна: Спасибо, Наташенька. Будь здорова.

наташа: Да подожди. Ты скажи, как в театре-то? Организовали? Поздравили? Ну, вообще? Шестьдесят лет в строю?

нина викторовна: Я три года почти не играю. Почетный покойник. Тень... отца Гамлета, приблизительно... Ну, прислали корзину цветов. Наверное, после вчерашней премьеры оставалась.

наташа: Да ты что?

нина викторовна: Ну, Наташа, они собирались устроить

какое-то чествование, но я этого ничего не хочу. Знаешь, это новое начальство... да я видеть их не хочу. Отказалась категорически. Театра нет, нет больше театра! Только домашний праздник, никого кроме семьи не жду. В самом узком кругу... Да. Спасибо, что поздравила, Наташка. Целую, дорогая... *(Кладет трубку. Сразу же раздается новый звонок.)* Алло!

мужской голос: Нина Викторовна! Михаил Алексеевич беспокоит. Звоню вас поздравить с юбилеем. От имени коллектива театра и от себя лично... Мы все огорчены, что не можем вас чествовать в театре, поздравить лично. Вся труппа хотела лично... Сегодня пришло от Министерства культуры поздравление на адрес театра. Завтра пришлем вам с курьером. Ну, еще раз поздравляю вас. Любим, любим, любим.

нина викторовна: Благодарю вас, Михаил Алексеевич. Очень ценю ваше внимание, очень.

михаил алексеевич: Не бросайте нас, дорогая Нина Викторовна! Вы... наш золотой фонд, наша гордость... всегда... всегда... наш дом... ваш дом...

Нина Викторовна кладет трубку, сидит, подперев рукой щеку. Звонок в дверь, она открывает. Входят сын Георгий, невестка Маша и двое внуков, Вадим и Нонна, с цветами и подарками.

все *(поют, шумно приветствуют)*: Хеппи бёрсдэй ту ю... Мамочка, поздравляю! Ба Нина, поздравляем! Ты наша классная Ба Нина! Самая лучшая Ба Нина! Это же охренеть: тебе восемьдесят лет!

нина викторовна: Ну куда, куда вы столько всего нанесли?! Я же говорила, все у меня есть. А чего нет, того мне уже никто не подарит.

нонна: Я вот тоже им говорю: какие подарки! Брюлики у Ба Нины самые лучшие, одета тоже лучше всех... для своего возраста... Машину уже поздно...

нина викторовна: Да-да, машину поздно, а в гроб рано.

георгий: Ну, мать, ты всегда так, палец в рот не клади. Да ты только слово скажи, куплю тебе машину. А что, действительно? Всю жизнь с водителем ездила, а теперь сдашь на права, сама рулить будешь...

нина викторовна: При чем тут водитель? Это у твоего отца был водитель, а у меня он сам был водителем.

нонна: Пап, пап! А правда, надо Ба Нине машинку купить. Как у Вадима. Как у тети Веры. “Мини Купер”.

вадим: Да, классная машинка. Ба Нина, давай! Ты за рулем будешь прикольно выглядеть. Ты лучше проси у папы не “Мини Купер”, а какой-нибудь кабриолет. Представляешь: ты сидишь седая, в красном костюме, в белом кабриолете, за рулем!

георгий: Это точно! Мать, ты бы шикарно выглядела. А что? В кабриолете! *(Смеется.)* Моя мать за рулем в кабри-

олете! И все движение будет останавливаться. А я помню, как отец тебя всегда на дачу возил. На “Москвиче”. А когда стал директором института, у него была служебная “Волга”. Он уже к рулю и не прикасался. Водитель был дядя Гриша Коваленко. И как отец с ним общался гениально! Всегда на “вы”, почтительно: Григорий Иванович, доброе утро! За руку здоровался. Утром машина приходила, а я как раз в школу шел. Отец меня в школу ни разу не подвез, считал, недемократично.

нонна: У тебя, пап, школа во дворе была, а мне через весь город в лицей тащиться. Чего же не отвезти. Если б твой шофер меня не возил, я бы только к третьему уроку успевала.

нина викторовна: Да, Николай всю жизнь себя вел исключительно скромно. Как аристократ...

георгий: Да ты что, мам! Аристократом отец ни разу не был. В нем было такое здоровое народное начало. Он же из крестьян. Из простой крестьянской семьи.

нина викторовна: Ну, это я слышала. Николай рассказывал. Обычная крестьянская семья, из Тверской губернии. Раскулаченная. Но отец твой, Гоша, был человеком благородного поведения...

георгий: Это сейчас модно стало – искать благородные корни... Вот у Машки действительно корни были...

маша: Корешки, я бы сказала. Только вырвали...

нина викторовна: Ну вот, открыли вечер воспоминаний. Давайте к столу... Берите тарелки, приборы...

георгий: Э-э-э... Я бы присел...

нина викторовна: Кто ж мешает? Вот кресло, диван есть...

У нас сегодня фуршет.

Ставят цветы в вазы, берут тарелки, кладут еду. Бродят с тарелками по комнате несколько растерянно. Нина Викторовна открывает коробку с подарком.

нина викторовна: Всё же интересно. Я как раз думала, что такое мне теперь можно подарить, чтобы я обрадовалась... Боже мой, компьютер! Ребята, вы с ума сошли! Зачем мне это?

георгий: Мать, это не компьютер, это планшет. Ребята тебя научат, будешь музыку слушать, читать что захочешь, старые пьесы слушать по радио "Культура".

нина викторовна: Спасибо, сынок. Но пьесы я иногда по телевизору смотрю, по радио слушаю, у ме-ня есть эти... аудио... Вставляю в эту штуку, как ее... Не могу сказать, что обрадовал... Озадачил. Удивил. Это что же, я теперь должна новую технику осваивать? Я еле с мобильным телефоном справляюсь.

нонна: Прекрасно справляешься. Ты мне вчера позвонила, а у меня свидание... в самом разгаре. Думаю, не буду подходить. Смотрю: ты звонишь. Подошла.

нина викторовна: Спасибо, что подошла. Не помню, зачем я тебе звонила?

нонна: Вот в этом самый прикол: спросила у меня, на каком канале искать какой-то спектакль “Ромео и Джульетта”... Мы с Игорем чуть не лопнули от смеха... “Ромео и Джульетта”!

Вадим делает неприличный жест перед ее носом, все смеются.

нина викторовна: Не понимаю, чего смешного... Мне Наташка Сиверская позвонила, сказала, что по телевизору старый спектакль Эфроса должны показать... Скажи, Маша, тебе тоже смешно? Не понимаю: чего тут смешного?

маша: Не смешно, Нина Викторовна. Давно уже не смешно.

нонна: Ага... У наших родителей с чувством юмора... не очень...

георгий: Рюмки давайте! Наливаю! Кого ждем?

нина викторовна: Ну как кого? Как всегда: Лида, Вера, Ксюша с Нюшей...

георгий: Господи, все святое семейство явится? С малышкой? А ты малышку-то уже видела?

нина викторовна: Не видела еще. Это святое семейство, как ты говоришь, Гошенька, сплошь одни девчонки... Я все надеялась, что у них мальчик для разнообразия появится...

Звонок в дверь. Открывают, входит Лидия, сестра Нины

Викторовны, опирается на палку, хромает; за ней ее дочь Вера и внушка Ксюша со спящим младенцем, завернутым в большой комбинезон.

георгий: О, с прибавлением! (Целуются.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.